



*Но дарователь песнопений
Меня давно не посещал;
Бывалых нет в душе видений,
И голос арфы замолчал.
Его желанного возврата
Дождаться ль мне когда опять?
Или навек моя утрата
И вечно арфе не звучать?*

В. А. Жуковский

◆ Но еще за пару лет до паскудного конфуза тулуповские писари, озаренные одушевленным даром самодостаточного чувствования — это которые стараются не в ногу со всеми маршировать,— как-то Альбатрос и ненашего Тулуповского леса происхождения Степной Волк, а также мокшанский уроженец Сказочник, в междусобойных частных рассуждениях остерегали по части Лошака. Дескать, начал тот свои писчебумажные упражнения с верноподданнических сочинений, в каковых, совсем крошечно либеральничая по части соленых арбузов, утверждал правильную линию светозарного *продолжения* старинных легенд Сибирского леса с перенесением оных на нашу обобществленную действенность. И дальше выдерживал: за десяток с лишком лет таковую линию не искривлял. Но в самое последнее время общение с тулуповским бомондом, главное — ежедневные шти с парной убоиной с рынка, повернуло его раньше резонные мысли и никого особенно не задевающие чувства в подозрительную вседозволенность. В прошлом годе и вовсе напечатал роман о некоем *мимансовом актере*? Само поименование его звучит как-то неблагонадежно, западнолесски... Как бы чего не вытворил, душа копытная! Может аккуратно рекомендовать Лошаку наведаться по его столичным знакомствам в Кашценку? Или пусть попользуют местные эскулапы по душещипательным хворям...

А вот когда прямо накануне конфуза в воспоследующих друг другу номерах архичитаемых всем Нашим лесом комсомолистских курантов, где Лошак состоит в правлении, тиснули его огненное повествование, в коем действие проистекает в Тулуповске, не то что местные писари, но и сочинительский молодец, вообще все знающие грамоте и почитывающие в один голос ахнули: быть беде! А писари еще много

* Упаси бог подумать, что эта повесть — сатира в конкретный адрес! Только сугубая констатация того явления, что в наступившую эпоху глобализации писатели никому не нужны... даже самим себе. Вообще-то к 85-летию Союза писателей.

чего из матерного лексикона <см. А. Н. Афанасьев. «Народные русские сказки» в 5-ти тт. Т. 4 — Эротические и нецензурные сказки; при всех режимах этот том и т. 5 (о попах) печатались под грифом «Для служебного пользования»> добавили. Простой лесной читатель озадачился слишком вольнолюбивым, превышающим ограничивающие препоны, либерализмом в части рассуждений автора о новозаветном Апокалипсисе, что не включено в обобществительные таблицы. Но сложно, почти невозможно переоценить праведный гнев тулуповских писарей — всего Тулуписа, исключая, конечно, самого Лошака! В повествовании этом Лошак, выражаясь по-флотски, обрубал все концы, то бишь канаты, хоть как-то ранее связывавшие его с Тулуписом. И первая мысль членов онога такова была: все, шабаш! видать не по чину Лошаку стало прозябать в нашей труппе и выпросил себе у столичных покровителей из Лесписа хороший чин навроде главного правленца толстых курантов, а то и вовсе в каком лесписовском президиуме. Вот и решил на росстанях по славному нашему общенародному обычаю — от Гостомысла и братьев Рюриков — плюнуть в глаза своим добрым тулуповским заединщикам в писарском прокорме!

Действительно, выложил Лошак на всевидную поверхность всю потайную низину тулуповской писарской жизни, заодно ошарашив наивного читателя сообщением: заместо усерднейшей деятельности по развитию обобществительных мыслей в обществе тулуповские писари всего лишь тускленько резонируют в своих сочинениях глухие отголоски со стороны магистральных путей героического продвижения *Нашего леса* к сверкающим идеалам добра, допустимой свободы, пристойной обеспеченности и практической полезной самодеятельности. Собственно Тулупис являет собою сборище случайных, слабограмотных графоманов, волнуют которых токмо рябчики, отпускаемые из кассы издательского учреждения. В самоличной же сущности эти писари зело пьянствуют, завистничают всему и вся, беспрепятственно сволачиваются с податливыми мамашками. Отменно Лошак живописал тайные от недоброго глаза, угодные для предания всем порокам лежбища в зарецкой стороне Тулуповска — в деревянных берлогах наподобие воровских укрытий, куда они всей своей коллектой съезжаются на ночь глядя. Словом, предаются телесному и умственному разврату; в последнем статусе «упражняются в безверье и расколе».

За напечатанием онога пасквиля не замедлился и сам великий конфуз. Близилась сакральная дата — столетие со дня рождения Великого Тигра. Зная Лошака как «датского» писаря, никто в тех самых столичных комсомолистских курантах не выказал удивления и сомнения, когда тот напросился командировать его в Аглицкое безлесье. Хочу, мол, сочинить очерковое повествование о причастности Великого Тигра аглицкому съезду тогда еще запрещенной в *Нашем лесу* обобществительной партии, предводителем коей являлся. Для сего ж мне надлежит — для писарской вдохновительности — побывать в тех местах, подышать теми воздухами, что впитывал в свой организм Великий наш Тигр, гуляя по Аглицкому безлесью, так-сяк умом раскидывая диспозицию установления обобществления в нашей лесной чащобе...

Правление курантов прочувственно отнеслось к доброжелательным намерениям Лошака; особенно всех умилило желание его подышать одним воздухом с исторической тенью Великого Тигра. Без ропота и междоусобных выкрутасов выдали Лошаку в кассе прогонные, подъемные, харчевые и представительские в аглицких рябчиках. В самом же Тулуповске без проволоочки и с благодушным попечительством оформили принятые по регламенту отношения от Тулуписа, заверенные письменно в местном корпусе жандармов и у полицмейстера. Главное, благословил на столь полезное и значимое для празднования юбилея Великого Тигра, вставшего у основания обобщественности *Нашего леса*, предприятие сам предводитель. Отметим, что во времена цветения обобщественности главную роль в управлении губерниями исполняли

не воеводы, как бы то казалось по наименованию должности, но предводители, от коих зависело все и вся во вверенных им лесах или урочищах (на окраинах — пустынях и горах).

На прощальном, увы, оказавшемся не фигурой речи, но сбывшемся по значению этого слова, банкетировании, естественно, во все том же кругу и без писарей, Лошак говорил несколько загадочно, что-де время нынче мудреное, а он едет за семь верст не киселя хлебать... Само собой разумеется, Лошак отбыл, оставив в своей конюшне очередную жеребую кобылку. Никто даже впоследствии не изумился такому постоянству.

...Не прошло и суток после посадки Лошака в аэроплан до Аглицкого безлесья, как кисель тот пришлось расхлебывать очень даже многим чиновным тулуповцам. Да и в столице, в Лесписе и редакции курантов, необдуманно командировавшей его, несладкое время наступило. Многих там подвинули.

Словом, сойдя с аэроплана в Аглицком безлесье, Лошак отыскал местное чиновное лицо и заявил: неумоги́ту ему, великому писарю, эти высокие идеалы обобществления! Просит он великодушно принять его в подданство вольнолюбивого безлесья, где так славно дышится воздухом свободы для сочинительства и благоденственного проживания. Верный своей неистовой умоиступляющей натуре, подметив в Хитрованском депо аэропланов множество снующих нежеребых кобылок, Лошак потребовал от приветившего его чиновного лица перво-наперво доставить для изучения свободы здешних нравов и порядков в дом терпимости.— Для укрепления устоев переведения идеалов из области эмпирических мечтаний в предметы практического воплощения.

...Спознав о злоумышленной подлости Лошака, Альбатрос, Степной Волк и Сказочник отбили друг дружке по междуберложьему телеграфу свои самодостаточные суждения о случившемся: надо, ребята, готовиться к худшему!

♦ Обобщественная власть ласкова и благодушна ко всем, кто не страдает неуменой жадной бесформенных чаяний, но беспощадна к тем, кто недальновидно поспособствовал злодеяниям потрясателей основ и подрывателей устоев. Началась показательная порка без уважения к чинам. Даже пресловутого «стрелочника» не искали. Лесной народ поговаривал в трактирах и своих берложьих кухнях, что сам Второй Тигр, главный предводитель *Нашего леса*, хотя имел натуру благодушную, но страшно разгневался, приказал тотчас разобратся и всех же наказать. Как истинный и нелюбезный сторонник обобщественительной демократии, розыск начал с себя (сам себя выпорол), показательно отсрочив на полгода получение очередной геройской звезды с бриллиантами и на ленте. Ну-у, чухломному зверью только дай байки порассказывать!

Дабы не растекаться мыслью по древу, перечислим роспись итогов тулуповского розыска. Бессменный со дня основания Тулуписа его руководитель Лавроносный Журавль лишился должности Льва с отчислением по разряду рядовых писарей. Птице Казарке, возглавлявшей обобщественительную ячейку в Тулуписе, объявили вердиктом предводителя строжайший разнос и также, отринув от должности Осла, отчислили все по тому же разряду. Пострадали — и бери куда выше! — намного более существенные чины. Самый серьезный удар среди оных пришелся по тулуповскому шефу жандармов: из «голубых генеральских погонов» переместился на предпенсионное прозябание партикулярным заведующим пробирной палатой.

Еще, окромя указанных, свой разрешительный вердикт на поездку Лошака давал предводитель того округа Тулуповска, к коему приписан Тулупис. И его, ничтоже сумняшеся, с чином похерили.

...Только по той счастливой для тулуповского предводителя случайности, что, вперво, вывел он своим хозяйственным талантом губернию в передовые по *Нашему*

лесу, а вовторо, в молодости служил под началом и в дружеской компанейности с будущим Вторым Тигром, остался он при прежней должности. С обильным же числом всяких мало- и среднечинных из кругов воеводы, предводителя и исправника, что имели первостатейную глупость оставить автографы на закопченном потолке Лошаковой конюшни, правож вели просто: бывал? значит соучастник гнусного замысла. А еще чин на тебя большой наложен! — Отчислить по инфантерии и курьерской (тридцать тысяч курьеров скачут) кавалерии! Здесь пришлось, снимав от трудовой жаркости кителя с аксельбантами, попотеть розыскным дознавателям: устанавливать по потолочным росписям Лошаковой конюшни имярек каждого посетителя ночных увеселений и оргий с (нежеребыми пока) кобылками... Даже наказанные понимали: вина их и есть вина. *Mea culpa* — моя вина, как сокрушенно говорил по латыни гимназический учитель, чисто случайно и не по чину попавший в Лошаковскую конюшню. И добавлял: *dura lex, soud lex* — жесток закон, но это закон. «Вот сволочь отъявленная, — шипел иной наказанный по причине оставленной подписи на потолке, — это надо же догадаться такой коллективный донос после себя оставить!»



Мифологический и эсхатологический символ быстротекущего времени — ангел с косой, сидящий на шаре. Образность такого представления самоочевидна. Подошел к Символу профессор философии Артемидов, сложил наполеоновски руки на груди, запахнул в академическую мантию, сделал умный вид... все же профессор! Не выдержал Символ:

— Почто уставился, муж высокоученый из города Тамбова?

— Да вот я о тебе, то есть о сущности времени, недавно книгу издал. Толстую, под тысячу страниц, почти как Библия... или Коран, или Тора — кому как нравится.

— Никому, док, ни сравнение арифметическое, ни сама книга не понравятся. Даже жене твоей, поскольку гонорара тебе не заплатили; сейчас ведь и за науку, и за псевдонауку не платят. Иначе все бросятся в сочинители.

— Но почему? Я ведь все по диалектике Гегеля Георга Вильгельмовича выверял. Про Платона и Канта не забывал...

— А как можно время описать, даже на тысяче страниц? Оно ведь пришло из бесконечности, промелькнуло и устремилось вновь в бесконечность, но только в будущую. И ухватить его, как тебя за твою новомодную косичку — молодиться что ли? — невозможно. Тем более описать. Так что, док, не пиши более трактатов обо мне, а используй отведенный тебе отрезок времени с большей пользой, например, сделай ремонт в квартире; сколько моего времени жена просит?

Донельзя убитый лютой расправой, отринутый от должности Лавроносный Журавль совсем сник, расхворался и от тягостных раздумий скоро, увы, присоединился к той стае своих соплеменных птиц, что улетают без возврата... Умело он и пристойно вел по правильному пути Тулупис. И сейчас его имя добром вспоминают в Тулуповском лесу, хотя бы при всеобщей грамотности число читающих устремилось — по «Арифметике» Магницкого — к абсолютному нулю. Но это в нашем повествовании еще не скоро случится.

Был явлен природными силами мистической символ случившегося: в день погребения Лавроносного Журавля в столице Аглицкого безлесья смертельно попал под колеса (неустановленной полицейскими чинами?!) самодвижущейся повозки Лошак. Лесной народ, вроде как он ни причем, по этому поводу безотносительно приговаривал странное: на всякого Троцкого есть свой Меркадер... Но на то он и глупый народ, чтобы напраслину на кого ни попадая возводить. Попал и попал куда следовало!

Совсем недолго Лошак чувственно наслаждался аглицкими воздухами свободы и вседозволенного либерализма, но и из тамошнего безлесья все доставал тулуповских писарей, обличая в оных полное отсутствие грамотности и врожденного тяготения к занятиям сочинительством. Одни, мол, рябчики у них в голове, из которых остатки мозга выветрились, да дармовые поросята, куры, тамбовский окорок и очищенная сивуха на всяких обобществительных банкетах токмо на уме. Настолько, мол, жаднючи тулуповские так называемые писари, что даже отказываются сделать крохотную коллекту на пожертвование малоимущим сочинительницам, давно уже достойными обилечивания, а именно Утке-мандаринке и Овсянке Янковского...

Тулуповских писарей, которых если что и обижало, так только не слишком большая — по их мнению — толщина пачек рябчиков, получаемых в гонорарной кассе, особенно заинтересовали названные Лошаком, никому в их среде неизвестные, редкостные и в иных лесах птицы. Ведь он, как всем ведомо, предпочитал жеребить кобылок; неужто в тайне от общественности еще и содомскому зоологическому греху в Тулуповске предавался? Но здравомыслящие, хотя и очень себе на уме, Альбатрос, Степной Волк и Сказочник из мокшанских лугов просветили на таковой предмет недоумения: у Лошака от тамошних вольнолюбий, либерализмов и обилия домов терпимости с нежеребыми кобылками (там наука фармация очень развита) все в мыслях воспоминательных перемешалось, а расчетливые чины Аглицкого безлесья, что взяли Лошака на службу по части пропаганду на *Наш лес* пущать, потрясать основы и подрывать устои обобществления, требуют многословно отрабатывать тамошние рябчики (в натуральном их на фунты весе). Дескать, изворачивайся! Словом говоря, требуют от Лошака зазря пустые речи в наш лесной народ пущать... Вот в воспаленном соображении его и всплывают диковинные представители орнитологических сфер; все ради прибитка, а не просто ради потехи над оплеванными со всех сторон тулуповскими писарями.

А мудрый от простонародного воспитания Сказочник резюмировал по фольклорной части, узнав о гибели Лошака, что от живого человека добра не жди, а от мертвого подавно... И посеячас, почти через полвека от вышеописанного злодейского конфуза в Тулуписе, старожилы оного и новые поколения писарей почему-то... даже жалеют Лошака. Что это? — По всей очевидности наша исторически сложившаяся и закрепившаяся жалость ко всем несчастливцам: от нищей старухи на паперти до каторжного душегуба. Особливо же печалются по убогим умам, к коим всенесомненно отнесен в тулуповской писарской чрепоколенной памяти Лошак: был, мол, дурак, да вышел весь так!

В лихоимные же «девяностые годы», когда все паскудное, супротив прежнего, обобществленного *Нашего леса* направленное было в чести, то и вовсе во всяких под-

метных курантах, особенно в столице тиснутых, оспаривалась честь различных Лесов полагать Лошака *своим*, как свобододлюбца, борца с тоталитарным режимом, воплощением совести и морали и пр. О — времена и нравы! О — история, смейся и плачь...

♦ Положено разделять историю тулуповских писарей пограничной, как зубилом выдолбленной в гранитной плите, черте: до лошаковского конфуза и опосля. ...И до другой черты: окончание эпохи обобществления и начала лихоимных «девяностых». Первая из поименованных черт отказалась для Тулуписа судьбоносной, но печально сослагательной в грамматическом наклонении. В «долошаковье», о чем уже рапортовалось выше, молодой по дате учреждения Тулупис с веселым остервенением нерастраченных еще писарских сил и чаяний на проявление и просияние на Скрижалях уверенно крепил свое реноме и добровольческие устремления по распространению обобществительских мыслей среди лесных обитателей. Уже верховные Лев с Ослом и ближним зоологическим кругом правленцев Лесписа с ласковой снисходительностью и благодушным расположением привечали юную тулуповскую поросль писчебумажных тружеников гусяного пера. Скупое, но все же отмечали наиболее проявляющих себя скромными знаками отличия. Конечно, до звезд и крестов на атласных лентах еще было как от земли до луны... даже до солнца, но ведь примечали!

Все рухнуло в гадаринскую библейскую пропасть со срамным злодейством Лошака, хотя бы еще Великий Тигр написал, как припечатал, в своем собрании сочинений о роли личности в Истории: дескать, она преходяща и почти что случайна, в нужном месте в нужное время проявляющая себя в отведенной ей ипостаси. По философской справедливости и регламентам логики сие вам любой старшекласный гимназический учитель, как дважды две четыре, разъяснит. Но на то они и лесные обитатели, тем паче играющие в горелки девушки-чечеточки, чтобы отделять уроки от практической жизни. Получается вроде как в одно ухо влетает, а в другое вылетает. Особенно если личность эта предстает в сиянии значительного злодейства; неважно, героического или паскудного.

Вот и огорченным тулуповским писарям обличающие их неосмотрительность по части Лошака чины от воеводы, предводителя и исправника прямо заявляли: а не от нерадивости ли и благодушия вашего такая беда на Тулупис опрокинулась? И добавляли еще много разных правильных и воспитующих слов с цитированием собраний сочинений Великого Тигра и Карлы Маркса.

Беда же великая и огорчительна на «последлошаковский» Тулупис свалилась словно гром господень. Если бы дело ограничилось разжалованием с должностей Льва и Осла, соответственно, Лавроносного Журавля и птицы Казарки, то все страсти скоро и утихли. Незаменимых у нас нет, говорил во время оно Стальной Барс. Тем более в Тулуписе, где задор неопитов от писарской власти еще не сменился либеральным скепсисом и возрастным догматизмом. Беда оказалась тяжелее, беспросветнее и обло круче мрачных ноябрьских снеговых туч, нависших по всему окоему над головами оплеванных тулуповских писарей. Нет вины без виноватых — приговорили в Лесписе и похерили все прежние, хотя бы только начавшие проявляться заслуги «молодой и успешно растущей губернской писарской организации».

Словом, негласным рескриптом Тулупис навечно (то есть до случившегося через двадцать без малого лет) был определен в качестве неблагонадежного предмета просветительства. Все светлые и радужные перспективы перед ним закрылись. Хорошо хоть не упразднили вовсе и образцово-персонально не разжаловали из писарей в рядовые сочинители некоторых! Здесь, как поговаривали лесные обитатели, дальнейшие розыск и расправу на правах обобществленного хозяина Тулуповского леса пресек добродушнейший предводитель. Ведь дальнейшее пресечение в писчебумажной статье *его хозяйства* привлекло бы излишнее внимание его столичных недоброжела-

телей, коих всегда предостаточно у любого, на которого немалый чин наложен. Потом он достаточно знал из неведомого рядовой лесной челяди, а именно, что сам его высокий благодетель, лавролюбивый (хотя и благодушный) Второй Тигр мысленно примеряет на своем сюртуке знак лауреата высшей в *Нашем лесу* писарской премии имени своего тезки Великого Тигра. Что означало аккордом и причисление его к Леспису. А ведь нельзя по административному обыкновению явно одной рукой строить, другой ломать?! Дело тонкое и политичное, но наш предводитель недаром происходил из малороссийских степей: полезную хитрость завсегда соединял с недюжинным своим разумением. Словом — настоящий хозяин своих лесов и дел!

Ничтожество, в каковое ввергли Тулупис, явственно проявилось тотчас после увольнения с должности Льва Лавроносного Журавля. Казалось бы, с позиций административного восторга, на такую вакансию все писари, отталкивая друг друга локтями, центростремительно ринутся? Но... козырь! как игроки в бостон изъясняются; желающих занять опальное, еще не остывшее кресло днем со свечой пришлось разыскивать. И все неопределенно отбодряются: у одного берлога с краю, другой вовсе не о двух головах, третий же не забыл злопамятно, как его блестящий роман «Колхозник Ермила», впоследствии получивший поощрительную премию на конкурсе ЖЭУ-14 Тулуповска, в планах местного издательства нагло перенесли на воследующий год... чтобы побыстрее тиснуть очередную повесть Лошака. Положительно, тень злодея продолжала черным крылом накрывать все светлые начинания огорченных тулуповских писарей.

Чудны дела твои, господи! В Лесу с веками наработанным строгим регламентом и почтением к табельным чинам («Государство наше есть по преимуществу военное», — таковым утверждением открывались гимназические учебники географии при Царе Горохе), в Тулуписе не находилось желающих в добровольческом устремлении занять вакансию Льва! Долго перекотывались меж собой публично и междуособно писари, пока не вмешалась Птица-Секретарь, охолодившая разгоряченные головы: «А кто будет за Льва ставить роспись на всяких денежных документах, опять же на отношениях в издательское учреждение на печатание ваших же писчебумажных сочинений? Я же печать на пустое место прикладывать не стану! Хватит кобениться — избирайте Льва! Или хотите без рябчиков остаться?»

...Нехотя, с оговорками и взаимными обидами, поочередно, не дотягивая до окончания уставного срока, на должности Льва побывали Альбатрос, Олениха, Пушистый Котик и почти все остальные тулуповские писари. Словно каторгу отбывали <<«С обязательным УДО», — расхохотался профессор Скородумов, читая принесенное аспирантом Володькой (вместе с бутылкой 0,7 л «клюквенной») «осалтыковленную» историческую повесть писателя Бурцева>>.

♦ Стерпится — слюбится. В каком бы чащобном забвении не находился два десятка лет — до отмены обобществления — Тулупис, но жизнь в нем не то чтобы теплилась, но по-своему струилась, порой и по-весеннему разливалась, расширялась в своих берегах. Да и в самом Лесписе со временем чиновные места освобождались по естественной убыли или скандалам, приходили новые местоблюстители, порой начинавшие недоумевать: а по какой-то такой разрядке Тулупис по реестру неблагонадежности зачислен? Старожилы из проявивших и просиявших, уже с покушением на Скрижали, охотно поясняли молодежи. Те как-то задумчиво, соглашаясь, кивали, а которые выпущенные из университетов по филологическому разряду, так и вовсе в дозволенном вольнолюбии латинизировали (чтобы просиявшие, от сохи которые, не поняли): *tempora tenturum*, то бишь времена меняются...

«Жив курилка!» — как бы сказал о Тулуписе Ромен Роллан, доживи он до соответствующих лет. И если в Лесписе и в столичных толстых курантах начинали смотреть на конфуз с Лошаком с таким гвардейским либерализмом и сквозь (всегда ис-

кривляющую) призму Истории, то и сами тулуповские писари постепенно начали выходить из пелен робости и «как бы чего не вышло». Уже не довольствовались *своим* издательским учреждением, не то что подвалами, а и целиковыми полосами «писарской страницы» обеих местных газет: «За родную трущобу» и «За молодую трущобу». То один, то другой устремлялись в столицу, в тамошние издательские учреждения, а более всего в толстые и «комсомалистские» куранты. Наиболее успешным в таком общественноугодном деле оказался Степной Волк — персонаж сквалыжный и задиристый, но наиболее талантом одарен был: как в прозаических сочинениях, так и в рифмовании своих мыслей; как правило, мрачных.— Но без очевидных подлостей и покушений на устои... основ тож. Тиснув два резонно сочиненных романа — оба в первостатейного табельного списка столичных курантах, Степной Волк в таковой кондиции даже Лошака в пору его писарского цветения превзошел! На тулуписовских ассамблеях озорно дурачился, задирали докладчиков, нарочито злил их и радовался достигнутому успеху. Когда же писари собирались за столом по случаю тезоименитства сочлена Тулуписа — с круглой цифирью даты,— либо на законных правах и в целях поддержания нравственности общественных идеалов отмечали осязательным содержанием официальный административный праздник, то душой такового сборища всенепременно становился Степной Волк. Нарочито, то есть поддразнивая осторожных в мыслях и словоизъяснениях тулуписовцев, уклонялся от принятой линии: рассказывал анекдоты про руководителей лесной партии и правительства, после чего хорошо поставленным баритоном (Осел по отмашке Льва прикрывал оконные фрамуги) громогласно пел давно ставшие в *Нашем лесу* фигурой умолчания героические песни про обобществительные подвиги и блестящие воинские и партикулярные свершения Стального Барса.

Когда хозяйка общественного стола Птица-Секретарь вносила на жостовском расписном подносе поросенка, фаршированного гречневой кашей, с аппетитно запекшейся бронзовой кожей, щедро умащенной хренком со свеколкой, Степной Волк, подмигнув робкому поэту, только-только билеченному (с третьей попытки), которого он совсем недавно в пух и прах разнес на ассамблее за мелкотемье и уклады в натуралистические осязательные несовершенства, поддразнивал того: «Прощай, молочный поросенок, отныне нам не хрюкать на луну, хрю-хрю-хрю!» Сивуху, даже неочищенную, Степной Волк потреблял неограниченно, но в пьяный раж нисколько не впадал, сохраняя веселое благодушие, либеральную раскрепощенность и ясность мыслительной сущности. Про такие матерые натуры в прошлом веке Даль и Афанасьев собрали в народе знаковые присказки: «Пей да дело разумей» и «Пьян да умен — два угодия в ем».

Остро по поэтическую и прозаическую нелюбовность Степного Волка вся писарская общественность прилюдно и сам-двое опасалась. Окромья увлечения писчебумажным промыслом и сивухи уважал рябчики («Был отменный эконом...»). Не довольствуясь приличествующими гонорариями, нахрапом влезал во все выездные предприятия Тулуписа — это когда малой коллектой писари за отдельную плату от культуртрегерских учреждений по линии воеводы или предводителя отправлялись в различные урочища и чащобы Тулуповского леса, даже в соседние Леса, где увлекали тамошних обитателей, фабрично-заводских и обобщественно-крестьянских, исполнением соло собственноручного приуготовления стихов и назидательных параграфов из повествований — все той же фабрикации, тем самым создавая прочные устои для вольного труда лесных обитателей, каковая всегда лежит — по Карле Марксу и Великому Тигру — в сущности обобществления.

...Уже после ликвидации оногo Степной Волк со смехом рассказывал новой генерации тулуповских писарей, как, будучи, взамен отчисленной по Лошакову делу птицы Казарки, руководителем писарской ячейки партии обобществления, он утаи-

вал в ведомостях окладных листов на партийные налоги свои рябчиковые доходы от поездок-выступлений по урочищам и чащобам... Здесь даже междусобойный конфуз между Степным Волком и недавно обилеченным на исходе эпохи обобществления писарем Полярной Росомахой, обучавшимся ранее в Высшем писарском училище. Случайно встретившись, зашли они поприятельствовать в трактир с подачей пива, побеседовать о самозначительности писарского сословия в наступившие «лихоимные девяностые» годы в части ненужности еже какой-либо деятельности по распространению (отмененных рескриптом) здравых мыслей в обществе. Здесь-то Степной Волк и рассказал, смеючись, о своем утаивании от бывшей *нашей* партии налогов за просветительские поездки по чащобам и урочищам. Моложе годами и писарскими заслугами, Полярной Росомахе промолчать бы, не зная еще характера визави — вселенский шутник, Степной Волк приходил в самополнейшую ярость, слыша иную инвективу в адрес своей персоны, — но ляпнул-таки, изобразив серьезность лица: «Да за такое кощунство над светлыми тогдашними идеалами вашему степенству при Стальном Барсе десять лет без права переписки должно было дать!» — Сказал и вмиг испугался: Степной Волк побагровел, проклял весь росомаший род до седьмого колена, гневной дланью опрокинул на пол кружку с недопитым пивом, сплюнул и убежал вон. Понятно, забыв уплатить по рябчиковому счету за себя. Пришлось огорченному Полярной Росомахе за двоих банковать с присовокуплением стоимости разбитой кружки, и еще по рябчиковой мелочи — за беспокойство — согбенной старушке-грачихе, трактирной подметальщице.

...Со Степным Волком мы еще встретимся в той части повествования, где живописуются тулуповские писари в ту историческую эпоху, когда обобществление заменили противоположным действием, а лесных обитателей вновь, как при Царе Горохе, изустно и печатно велено стало именовать обывателями и прочей лесной сволочью.

♦ Природа в своей натуральной ипостаси регламентом поделена временами года, на смене которых людей и зверей радуют недолгие, но в памяти запечатлевающиеся, периоды умиротворения. Это суть ласковое окончание волнующей душу весны — месяц май в завершающих его двух декадах. Изобильный по дарам возделанной трудами лесных обитателей нивы сентябрь: природа уже грустит в преддверии непогод, но как веселы гимназисты, вроде заново после летних вакаций привыкающие к своим менторам, учащим их идеалам добра и обобщественности. Так и тулуповские писари, когда хотя бы немного забылось их недоглядение в части Лошакова злодейства, уподобились природному умиротворению, недалекому от потери бдительности, причем именно в сентябрьской аналогии. Что-то судьба готовит им? И вообще *urbi et orbi* — городу и миру, как в папских энцикликах. А раз проглянула заставляющая поежиться душу неопределенность будущности, так следует радоваться дню текущему... хотя бы уже и сентябрьскому. Словом, оправившийся от моральной (и материальной по части рябчиков!) пощечины Тулупис выживал и надеялся.

Не то что не отставала в писарском усердии от Степного Волка многотруднолюбивая Олениха, единственная столичная (поощрительная) писарская лауреатка, но даже чаще его спешила в означенный табельный день к гонорарной кассе за вновь изданную книгу. В бухгалтерии издательского заведения ее чуток остерегались. Олениха прибыла в Тулуповский лес из дальней Сибирской тайги, где всяк силою природного воспитания и первозданной дикостью мест обитания не то что подозрителен, но зело осторожен в общении со всем окружающим. Тем более в тонких для профессионального писаря гонорарных делах. Ведь ему продовольствоваться на них до тискающей следующей книги! А очередь возжелающих водвориться в окладные списки — планы издательства, обслуживающего четверок губерний, все растет и растет в пропорциональном отношении по числу вновь нарождающихся обилеченных писарей в Тулуповском и соседних лесах.



Опытный журналист наставляет стажера: «Ну, что ты, мой милый, написал: «Вчерашний Первомай в областном центре собрал не более двух тысяч митингующих, преимущественно пожилого возраста. В целом, все прошло спокойно за исключением небольшого инцидента: учащийся техникума бросил в сторону губернатора надорванный пакет с кефиром. Хулиган был задержан». Надо усилить акценты, примерно вот так: «Традиционный праздник весны и труда граждане города провели на своих виллах и дачах. Несколько сотен страдающих амнезией беспомощных стариков случайно зашли на площадь и остановились, заинтересовавшись появлением губернатора, известного прокоммунистическими взглядами, со свитой. Молодой демократ, студент колледжа Борис К., выразил возмущение политикой губернатора по задержке реформ и метким броском надорванного пакета с йогуртом «Эрмигут» сбил с него спесь. Милиция зверски скрутила руки молодого борца, отличника учебы и именно стипендиата фонда Гусиновича и бросила его в «черный воронку». Народ на площади роптал и возмущался».

...Потому-то рачительная Олениха, ведавшая заведенный обычай бухгалтерии издательского заведения в подсчете полагающегося писарю гонорария арифметическим действием умножения числа оттиснутых литер на узаконенную ставку рябчиков с последующим округлением в меньшую сторону, самолично подсчитывала упомянутое число литер и умножала без всяких намерений к округлению. Арифметику же она знала отменно, будучи выпущена из высшего училища по корпусу горных инженеров, но отошла скоро от упражнения в оном, прочувствовав в своей натуре природой данное устремление в обители муз близ освежающих струй Кастальского ключа.

Писарем Олениха была отменным — для благоденственного обобществительно-го времени и губернского статуса. И в наступившую вослед вовсе неуютную для писчебумажных тружеников эпоху служила раз и навсегда избранному занятию совестливо. Даже самые завистники, понятно, по рябчиковой части, не смели упрекнуть ее в следовании паскудному правилу: дескать, спустя рукава, хоть что-нибудь, далее — по возможности, а затем и вовсе применительно к подлости... Но и с пресловутыми «правдоруками» никто бы Олениху не взялся соотносить, ибо, живя и продо-

вольствуясь токмо сочинительством, писарю навсегда следует держаться аккуратной пристойности, то бишь гусиным пером описывать предмет с позиции правильной в воспитании и нравственности правды, но нисколько не влезать в сомнительные — не только в обобщественном, но и в ином лесоустройстве — дебри той правды («Нет правды на земле, но правды нет и выше!»), что навеивает у читателя смутные и неясные мечтания о потрясении основ, обличении злоупотребителей в чинах первых классов и подрывании устоев.

Словом говоря, не напряженным всякими философскими смыслами предстояла перед читающей (а тогда в *Нашем лесу* все читали!) публикой, главное пред невинными девушками-чечеточками и (еще или пока?) не огорченными малым числом рябчиков в карманах юными гимназистами и учащимися реальных училищ, Олениха, а добродетельным учителем благонаправленной жизни; неспешно поучала добротным стилем и слогом, воспринятыми от писарей-классиков предшествующих времен и поколений. Она же полагала свое сочинительство жизненным обязательством, трудной, но полезной работой во имя идеалов обобществления, к тому же приносящей душевный покой и удовлетворение. Каждый год местное, а то и столичные издательские заведения тискали литерами очередную ее поучительную книгу. Порядок этот Олениха исполняла почти что с календарной регулярностью. Даже лично-семейную жизнь свою не обустроила, полагая это препятствующим писарскому усердному труду.

Сюжеты своих сочинений она не из пальца высасывала, чем грешили некоторые тулуповские писари, тем паче многие еще необилеченные, но брала из жизненных реалий. Поэтому и привыкли лицедреть Олениху в различного пошиба училищах, на лесных стройках-гигантах обобществительства, фабриках и заводах, где традиционно, из поколения в поколение, гнули котёлки. Она искала героев своих повествований не среди чиновников из окружения воеводы, предводителя и исправника, но от сохи, отбойного молотка, учащихся и наставников училищ. Оговоримся: если директивная обобществительная линия требовала от писарей оттенить или просветлить роль лесных руководителей, в том числе и в чинах до партикулярных генералов — действительных статских советников, то Олениха и здесь с присущим ей писарским мастерством выставляла ум, честь и совесть обобществительной эпохи. В губернском масштабе, понятно дело. Отсюда и книги, вовсе не лизоблюдские, но правильные, про прогремевший на весь *Наш лес* трудовой эксперимент в ближнем к Тулуповску урочищу, а особенно читаемый и сейчас на одном дыхании роман об избранном единоголосно районном предводителе...

Не только молодая поросль лесных обитателей и умудренная жизнью женская половина зачитывались в то время книгами Оленихи. Даже необилеченные сочинители, одолеваемые всеполагающей завистью, зело сдобренной позднеюношеским скепсисом и либерализмом (мол, «мы — умы, а вы — увы!»), раскрывали ее книги — что возьмешь у сугубо женской писарши? — вроде как из общепринятой вежливости, прочитывали пару-тройку страниц... а затем увлекались и, стыдясь перед такими же (с либерализмом) необилеченными сотоварищи, уже наедине, в своей берлоге от корки до корки прочитывали. И здравая мысль их посещала после прочтения последних литер: да-а, брат Гусь Лапчатый, пожалуй и рановато тебе о билете Лесписа задумываться; надо у той же Оленихи учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал Великий Тигр, как учит нас обобществительная партия и лично <имярек>!

...Земля наша двухполярная: полюс на северной макушке, а другой в ледяной Антарктиде. Так к описываемому периоду истории писарей Тулуповского леса и в оном на сочинительском небосклоне всяк узревал двоепротивоположение: ушедший в злодейское небытие Лошак и спокойно, ровно светящаяся доброжелательностью сочинительская муза Оленихи. И долгое время ей еще предстояло освещать благонаправно горизонты читающих лесных обитателей.

♦ Альбатроса и Сказочника из мокшанских лугов, невзирая на существенное различие их зоологического происхождения, сближала по роду занятий начальная молодость и вступление в зрелые писарские годы. Оба они, вельми несхожие по внешности натур и причислению к разрядам сочинительства, по рекрутскому набору исправляли воинскую повинность по флотских экипажах. Оба и курсы в Высшем писарском училище прослушали, откуда были выпущены по разряду писчебумажных работников гусиного пера. Но вот дальше выступает токмо различие. Альбатрос — коренной посконно-домотканый тулуповец, до писарского призвания в заводе изукрашавший зернью и узором особливые парадные котёлки. Сказочник же пришелец с далеких мокшанских лугов, а в Тулуповск его приманили на полное довольствие и для увеличения численности только что организованного Тулуписа сразу по окончании Высшего писарского училища, до которого он в цирке гимнастическими упражнениями публику волновал.

Сказочник постарше, этакий увалень, сочинял для гимназистов и учеников-реалистов, соответственно своему прозвищу, заменявшему в заглазном общении писарей его звериный разряд (был он добродушным медведем), сказочные повествования, многажды тискаемые и перетискаваемые в Тулуповске и в столице. Отдал он дань и историческому промыслу гнутья котёлок в Тулуповском лесу, сочинял отменные сказки о легендарном мастере этого дела по прозвищу Затычка. Над ним посмеивались, мол, Затычка! Ха-ха-ха! Понятно дело, коллеги-писари завистливо загибали в сюртучных карманах пальцы, пересчитывая гонорарные рябчики Сказочника от местных и столичных неоднократных тисканий «Затычки». А вот в канцелярии предводителя, в кою пару раз пришлось Сказочнику явиться по своим писарским докукам, каковые Тулупису разбирать не по рангу оказалось, чиновники XIV—X классов, лишь недавно прибывшие выдвиненцами из малограмотных чащоб Тулуповского леса, также посмеивались, но уже от непонимания самой роли писарей в укреплении оснований, лежащих в исполнении практических воплощений идеалов обобщественности... От природы мудрый Сказочник, получив от нижних чинов от ворот поворот, нимало на них не обижался. Зайдя в попутную простонародную распивочную при трактире купца Филимонова, выпивал потребное его медведевому организму, а по адресу нижнеклассных чиновников добродушествовал со случайным собутыльником: известно, мол, дело молодое, необтесанное. Вот наложат со временем на такого чин повыше, навроде надворного советника, так мигом поумнеет. У меня же на подарочное тисканье «Затычки» автограф просить будет вежливым порядком, дескать, соизвольте для малых моих детушек на добрую память... Словом, мы от сохи, но когда-нибудь достигнем «окружающего момента обстановки», как устами своего героя сказал *наш* флотский писарь. Известно ведь со старины нашей Гостомысловой, что уши выше лба никак не вырастут, если только не на должности Осла находишься — чтобы издали все шепотки неудовольствия в адрес Льва слышать и патрону докладывать в установленном регламентом порядке, — и чем выше чин наложен, тем более все содержимое головы улетучивается, а значит умнеет чиновник и думать начинает нужным местом, каковое по чину блюсти должен и сохранять для своего благоустройства.

Прост в общении Сказочник был, так прост, что до сих пор в писарской тулуповской среде о его простоте анекдоты ходят. Памятная доска сейчас на берложем доме его висит.

...Альбатрос же, помлаже Сказочника, супротив его внешности имел фигуру приземистую, озорную. Сочиняет и посейчас по части рифмованного писарства, отменно играет на гармонии, а еще лучше поет поставленным от природы голосом: по нотной грамоте где-то между тенором и верхним баритоном. Но и по фальцету пройтись может частушечьему. Стихи сочиняет не «датские», но и повода к оному не избегает. В Тулуповском лесу, по признанию и утверждению самих предводителя и воеводы,

за ним пальма первенства в патриотическом воспевании традиционного котёлочного промысла и собственно славной тулуповской отчины и дедчины. Честь и хвала ему от восторженных лесных обитателей имела место быть в описываемое наивысшее осязательное цветения эпохи обобществления.

...Когда Полярная Росомаха вступал в сочлены Лесписа <<«Что за *qui pro quo**?» — Игорь Васильевич загнулся на увлекшем его чтении, — зачем здесь, нарушая стройную временную последовательность повествования, возникла явно позднейшая фигура Росомахи?» И тут же рассмеялся, хлопнув себя ладонью по лбу: «Совсем было забыл, что автор «подстрочника» Андрей Матвеевич Бурцев родом с Севера; какой же писатель не захочет и себя в Историю, даже провинциально отведенную, вставить?»>>, то из положенных по статусу трех рекомандателей самым «весомым», конечно же, являлся Сказочник.

Другим же согласился перед комиссией Лесписа за Росомаху предстательствовать вальжанный Пушистый Котик, вышедший в писари из курантовых редакторов. Но и это, в основном прокормляющее его, занятие, войдя в Тулупис, не оставил. Определительное прилагательное (см. «Пространную русскую грамматику» Николая Греча, 1830, с посвящением на титле: *Его Императорскому Величеству Государю Императору НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ Самодержцу Всероссийскому с благоговением посвящает верноподданный Николай Греч*) «пушистый» и ласково-уменьшительную существительную основу (опять же см. Греча верноподданническую грамматику) таковой писарь за глаза удостоился за прекраснодушный нрав, вообще свойственный оному зоологическому отряду, но главное — за пылкий и всеобъемлющий интерес к противоположному полу, хотя бы имел замечательной красоты и осязательной к нему благорасположенности супругу. К тому же — редкий случай — в гармоничном сочетании великолепной натурной внешности и приличествующей оному полу толики умственности. На благожелательные доносительства завистников Котика похохатывала: «Отчего *мой* сволочится с мамашками страхолудными? — А по той амурной контрастности, чтобы постоянно в себе подпитывать приязнь ко мне, ха-ха-ха!» И для своих сочинений Котик пользу (число строк — количество рябчиков для дома, для семьи!) извлекал из таковой любвеобильности, пристойным слогом допуская отступления в дозволенных обобществленной нравственностью рамках, что увеличивало интерес лесных читателей и, соответственно, тираж отгиснутых книг. Тем самым, в соотношении с диалектикой Карлы Маркса, замкнутый круг «писарь — книготорговец — читатель» все более расширялся на восходящих ветвях той спирали, которой в обобществительные времена в гимназиях и училищах, университетах тож, наставники в мундирных сюртуках с петлицами по принадлежности к министерству просвещения допекали своих воспитанников.

Росомаха самолично слышал беседу двух почтенных летами писарей — не то что пакостливо подслушивал, но сидел на соседнем диванчике в канцелярии Тулуписа по своей докуке, — обсуждавших новую книгу Котика: «...Чушь пишет наш Пушистый, дескать, три раза совокупился его персонаж с мамашкой в берлоге холостого приятеля, имея в наличии только два кондома галльской фабрикации. В третий раз, мол, она, искусница, сумела и без того предмета обойтись. Не понимаю и все!» — «Ничего ты, старый хрен, хотя и помышляешь тайно о Скрижалях, в новых делах не смыслишь...» Но здесь Росомаху потребовали ко Льву, а *новые дела* писари уже без его присутствия обсуждали.

Котику же Росомаха из всех рекомандателей наиболее признателен. В те времена в Лесписе билечивали тулуповских сочинителей, хотя бы о семи пядях и подающих весомые надежды, со многими препятствиями: новый писарь как лишний рот в

* Одно вместо другого — в смысле путаница, недоразумение (лат.) — (прим. ред.).

большом семействе, ведь планы-то тулуповского издательского заведения не увеличивают с возрастанием числа сочленов Тулуписа! Потому с первого захода вовсе никого не обилечивали. Хорошо хоть со второго сопричаститься? Так отменный поэтический сочинитель Бурвестник и счет потерял предпринятым попыткам войти в сонм избранников тулуповских муз... Опять же характер независимый и голос твердый и уверенный настораживали тулуписовцев.

...Так и Росомаху, уже две полновесные книги оттиснувшего, выпущенного с приязненными референциями из Высшего писарского училища, в первый раз старожилы забаллотировали: молод еще, а в романе своем странную кривизну по части обобществления этакой игривой загогулиной начертал. Обиды Росомаха не затаил, понимая, что сутолока около кассы издательского заведения никогда в порядок не придет, а Тулупис осаждать следует сочетанием терпения и умения сочинительского. В другой раз рапорт Льву подал с объяснительным убеждением в своей пригодности. Но и тут ему общим настроением хотели препон поставить (в издательстве как раз планку в очередной раз снизили). Выручил Котик: такую убедительную в пользу Росомахи тирадную аттестацию высказал, что привел возражения к единому знаменателю в части ожидаемой пользы от зачисления «молодого, творчески необиженного, устремленного к идеалам» и так далее, что с крохотным перевесом, но все же Росомаху причислили к лику... Как то водится истари в писарской среде (еще в чиновной и сугубо женской) первыми, искренне и с изъяснением восторга, новообретенного сочлена, даже смахивая с ресниц редкие слезинки умиления, тепло и дружески поздравляли (тайно) голосовавшие супротив. Росомаха сдержанно благодарил, обещая верно и бесподлостно служить писчебумажному искусству, но сделал вид непонимания в части намеков, что-де его одушевление имеет несколько отвлеченный от практического проявления дружелюбности характер. Поскольку в *Нашем лесу* в это время (мы несколько забежали вперед в последовательности повествования...) проводилась кампания по отрезвлению общества — в преддверии наступления процесса поголовного высвобождения от излишних чувствований, мыслей и совести, — то Росомаха, изобразив на морде несусветную верноподданность, громко заявил: «Начинать, *коллеги*, как когда-то учил наш Великий Лев, следует с себя; только так возможно пресечь зло в самом его корне!» И ушел восвояси, не проставившись копченной поросятиной, жареными курами и очищенной сивухой.

...Уже давно на берложьем доме в самом пристойном месте (в *наипристойнейшем* квартировал только Лавроносный Журавль — обочь дворца предводителя) Тулуповска значится на стене мраморная табличка в память Котика. Мир праху его!

♦ Как должно быть тебе, благодарный читатель, памятно из классов — гимназических, реального или церковно-приходского училищ, писари завидуют и интригуют в сугубую одиночку, реже с сочувствующей супругой на кухне под шкалик «очищенной», но отдыхают душой и телом в своем сообществе, исключая выборные ассамблеи, где прежде до размахивания, впрочем нарочитого, венскими стульями и вольтеровскими креслами радикально доходило. Это как, в пример будет замечено, в нынешние официально либеральные времена: вроде, по здравому разумению, и выбирать не из кого по депутатской части, но лесного жителя вроде как серьезно словесно задирают, из теплых берлог выманивают, мол, горячись, выбирай достойного! Но — к продлению сего повествования, не разводя излишней риторики.

А по сути благодушествование в писарском тулуповском сообществе в полной мере возродилось опосля прекращения чехарды с частыми сменами местоблюстителей должности Льва, о чем выше было писано.

Самим тулуповским писарям «первого обилечивания» осточертело без конца перепихивать друг на дружку должность Льва в Тулуписе (изба с краю, одна голова на плечах, обидели с берлогой...). Еще не выветрился в памяти, цепкой в сочинитель-

ском сословии, конфуз со злодейством Лошака и впоследствии внесенным Тулуписа в проscriпции в различных канцеляриях: от правления Лесписа до присутственных мест тулуповских предводителя и шефа жандармов. Как под таким недремлющим Оком исполнять со всей решимостью должность Льва? В оной же полагается два противоположные и основные воспитательные правила: блеск показательных кровопролитий и отеческое (мы отцы ваши, вы дети слаборазумные наши) наставление с неперменным обещанием порадеть где надо и предстательствовать перед кем нужно... к примеру, о включении в издательские планы «чу-у, не на следующий, так на воспоследующий годик». А тут, как всегда кстати, недремлющее Око осадит Льва, дескать, ваш Тулупис и так под сомнением, не по чину тебе кровопролитье претенциозное — до полного исправления! Кровь же побереги; оной надлежит смывать позор Лошаковский, а не лицемерную верноподданность нарочито выставлять. Еще более сомнительным в твоём положении пресловутая отеческая наставительность. Одного уже так наставили, что врагом *Нашего леса* сделался и в Аглицкое безделье дезертировал от наших светлых идеалов обобществления и трудничества во благо развития оногo! Нишкни, мол, тихо, не высываясь сиди в своей чащобе и смывай с вверенного тебе Тулуписа вечное пятно позора...

Всепонятно, что даже ни на что не претендующие, не поминая Скрижали, ежи и зайцы не помышляли (да и кто бы их пустил!) о должности Льва.

Все же решено было положить окончание перепихиванию и перекотыриванию злосчастного чиновного кресла друг на друга. В избранной (вино, женщины и искусства принадлежат Избранным) междусобойной ассамблее — без поросенка под хреном и злодейки с зеленой наклейкой — порешили и в мыслительном протоколе запечатлели: *аз*) на должность Льва определить всенепременно пиита, ибо у них книги намного тоньше супротив прозаических сочинителей, а значит больше времени останется для исполнения должности; *буки*) нового Льва изыскать из отдаленных урочищ, дабы еще не скоро оброс кумовьями в Тулуписе и начал радеть оным; *веди*) по характеру должен быть миролюбивым, а по годам — на долгий срок исполнения должности.

...Изыскали такого Медведя Миролюбца из удаленной чащобы, из мест, в которых два ста лет тому назад достославный Болотный Бобер строил дворцовую берлогу для незаконноурожденного сына Царицы.

И наступила золотая, даже в какой-то мере и по рябчикам (в приличествующей законоуложениям и морали обобществления), пора Тулуписа. Известно, что одному писарю похвалить другого все одно, что статскому советнику признать прилюдно коллежского асессора равным себе если не по чину, то по резонности мыслей! Поэтому новый Лев с чащобной крестьянской себе-на-уме хитроумностью избегал с самого начала исполнения должности, каковая продлилась почти три десятка лет, почти что до нынешнего времени, выделять одного писаря перед другим. Даже для своих сородичей из зоологического отряда исключения не допускал и вообще, став по чину Львом, отрекся от косолапого происхождения, ибо место красит, как то принято в администрировании. В междусобойных ассамблеях прояснял свою директиву: «...Гениальный, высоко- и просто талантливый — это попахивает претензиями на Скрижали, до которых всем *нам* еще расти и расти. Так что, писчебумажные мои собратья по гусиному перу, полезной скромности ради ограничимся пока титлами «способный» и «писучий», сделав приятное исключение для наших старейших: Оленихи, Казарки, покойного Лавроносного Журавля, Альбатроса, Степного Волка и Пушистого Котика. Присвоим им наименование «известных тулуповских писарей». В особую графу определим уважаемого Сказочника, нареча «самобытным», благо он в столицах и университетских центрах достаточно ведом. Всех же необилеченных под одну гребенку: «подающие надежды».



*Всем известно ленинское определение русского интеллигента, хотя, между нами, девочками, говоря, и сам Владимир Ильич начинал трудовую жизнь малоудачным либералом-адвокатом. Впрочем, скоро опомнился. В наше же волчье время интеллигент и вовсе гнойный нарост на умирающем теле национальной культуры и науки. Понятно, если он не другого пошиба, демократического... Самое существенное, что никакое время, никакие катаклизмы жизни народа и государства не изменили душевные и умственные устремления пресловутого *i n t e l l e g e n c e*: вкусно покушать три раза в день и с полдником, следовать линии партии (коммунистической, либеральной, националистической... — какая шишку во власти держит), немного диссидентствовать, с девками молодыми шалить. А что касается нравственного выбора, то его всегда вырывает гадание на пальцах или на кофейной гуще.*

Новый Лев по-умному и на канцелярию опекающего Тулупис предводителя обиды не затаил, когда тамошний квартирмейстер выделил ему берлогу не в «сталинском» доме. Здесь все было по регламенту устроено: как только число писарей достигло десятка, вновь обилечиваемых передвинули в нижележащую графу и стали оделять берлогами если не на окраинах, то в новостройных местах. Причем размеры берлог свели к принятым обобществительным нормам: столько-то в квадратных сажнях на члена семейства. Лев и остальные (новые) сочлены Тулуписа хорошо помнили из классов азы Марксовой науки о накоплении и распределении богатств соразмерно (растущему) числу созидающих оные: где-то прибыло, а что-то и убыло...

Поныне ветераны тех золотых годов в беседах с молодой писарской порослью кратко определяют обобществительную эпоху всего-то за пять-десять лет до ее заката: как кум королю жили! Общественное уважение, признанный почет от чиновников круга предводителя и воеводы, рябчики опять же... Ближе к скончанию эпохи и вовсе, подзабыв о злодейском Лошаке, стали избранно тискать тулуповских писарей в столице, а попечением предводителя и воеводы в родном лесу начали припечатывать таковых избранных, оделяя наименованиями почетных ситуайенов и заслу-

женных писарей, что всенесомненно отягощало их кошельки рябчиками... Лев сам хорошо рифмовал и того же спрашивал со своей паствы. Тогда-то предводитель на высокой обобществительной ассамблее в столице и произнес свои слова, что-де до Великого бунта в Тулуповском лесу имелся один писарь — Великий Лев, а ныне нутка сосчитай!

Писарская душа потемки, но напрочь лишена ненужной жажды беспредметных чаяний. Зато за внешней благодушностью задолго до свершения потрясения основ и подрывания устоев чувствует надвигающееся неустройство в жизни. На то они, по давнему высказыванию Горькоусого Моржа, и есть инженеры душ лесных обитателей. Писари вне своего круга на этот счет помалкивали, понимая, что рядовой обитатель чащоб и урочищ их нисколько не поймет, тем паче не выскажет изустно ни малейшего сочувствования к их тревоблениям. Натура рядового лесовика посконна и домотканна в части осязания высоких материй и далеких перемен. Живет он одним днем, тем более в идеалах и практическом разрешенном достатке обобществления.

...И было *de profundis*, то есть из бездны (будущего) на латыни, мрачное видение с предостережением тулуповским писарям в один из зимних вечеров в избранном кругу собравшихся скоротать за беседой о писчебумажном искусстве рано наступающую по времени года уличную темень в присутственном месте Льва.

♦ Лев поросятине предпочитал селедочку пряного посола из тулуповского магазина столичного купца Елисеева. Не потому что склонялся к магометанству, но накрепко вбил в память слова деда в смысле уважения к селедке в чине закуски к сивухе. Уважая старшинство Льва в должности, а значит и в истинности утверждений, вечерние собеседники по обычной раскладке сделали коллекту в рябчиках и отправили самого молодого — из недавно обилеченных — за одной сельдью, очищенной, салом с мясной прослойкой в палец толщиной, холостяцкой колбасой и хлебушком. На новоприобретенных крыльях Пегаса тот оборотился скоро, не успел Лев по разудругому обставить (уважал он и эту индийскую забаву) в шахматилки пару своих подопечных. Не считаясь по приватности обстановки чинами, не в подхалимские поддавки играли, но всерьез.

Не успели освежиться по первой, разгонной, как вошел, отряхивая густо поваливший под вечер снег с шинели, особенно с поддельного бобрового воротника, запоздавший писарь. Разоблачившись и приняв с морозца стопку (ранее выставил на стол принесенный полуштоф), разъяснил причину невежливого опоздания: «Извиняюсь, господа писари, не рассчитал времени, делал крюк до участка». На него в наступившей тишине внимательно посмотрели: кто с сочувствием, иной злорадно. Но когда запоздавший с прирожденным слогом рассказчика — прозаиком был недурственным — поведал занимательную историю, приключившуюся с ним, присутствовавшие расхохотались и даже предложили тост за кастальские музы, оберегающие и в личной жизни своих подзащитных писарей. История же заслуживает внимания, кое мы и обратим на случившееся.

Три дня тому назад на Крещение писарь *N.* — из лосяного сословия — крепко загостился у кумы — под отменного поросенка и запивку к нему. После третьей стопки все опасения писаря относительно позднего возвращения домой, как то водится, улетучились. И кума, разохотившись на сливовую наливку, забыла про остерегательную присказку: что знает кум, знает и кумова супружница, а по ней и весь околоток.

Словом, поздно вышел в направлении родного очага. Как ни потчевала его заботливая кума румяной поросятиной и разносолами, но забористая очищенная своим градусом взяла уверенный верх над закуской. Да и крещеный мороз на славу щипал. От спутанной ходьбы Лося то в жар бросало, то в стылый озноб; песню сам-один заводил или похитоску от фабрики купца Стамболи пробовал раскурить — все не по-

лучалось, словно не лосем он был, но разлаженным часовым механизмом, где пружинки и стрелки каждая сама по себе стремится вертеться. Видать под конец неверного по избранному курсу пути, почти обочь родного очага, высшие силы порешили наказать писаря за приязнь к красотке-куме: дорогу к дому загородила казенной окраски кибитка, прозыванная лесным народом «черным вороном», а с облучка спрыгнули двое городских со словами: «А вот извольте, полупочтенный, с нами в холодную прокатиться!»

...Надо сказать, что во времена обобществления не водилось большей кары для любого партикулярного и даже чиновного XIV—X классов лесного обитателя, нежели препровождение в холодную — в целях провозглашенного с высоких ассамблейных трибун повсеместного и радикального отрезвления. К тому же в описываемое время происходило замещение зоологических видов в среде городских, квартальных и околоточных надзирателей, урядников и прочих нижних чинов по ведомству министерства внутренних дел. На смену пожилым, многоопытным в житейской толкотне, оттого рассудительным и в рамках узаконений даже благодушным оным чинам из отставных армейских ефрейторов и унтеров массово устремился на непыльное занятие молодняк из стайных зверей, каждые полгода скороспело выпускаемых из приготовительных училищ по ведомству губернских полицмейстеров. Тонкостей сложной лесной жизни они не понимали, данную им власть злоупотребительно и мстительно использовали со всем молодым размахом, имели склонность к дармовым рябчикам и очищенной. «Молодым везде у нас дорога», — распевала вся *Наша страна*, а таковые из полицейских нижних чинов в части усердия соревновательно считались друг перед другом, околоток перед околотком, участок перед соседним таковым. Жертвами такого азарта и становились лесные обитатели, на время забывшие про радикальное отрезвление. Даже ежели чуть запашок от них исходил или на давно нечищенном тротуаре лишний шаг влево-вправо неловко совершил, выскивая путь поровнее. Тотчас из подкатившей кибитки: «А вот извольте, полупочтенный, с нами...».

Продрожал Лось ночь в стойле холодной под тонкой казенной попоной, а наутро — к выписке в канцелярию участка. Как положено, на руки ему для оплаты окладной штрафной лист. И местом службы для воспитательной цели посылки в оное рескрипта «разобраться и наказать» интересуются. Отрезвевший, хотя и не очень радикально, Лось рапортует: «Писарь есмь обилеченный; в Тулупис шлите рескрипт. Видите — перед вами билет!» Про себя же — здесь уж радикально — усмехается, мол, свой-то Лев не выдаст и не съест, ограничится междоусобными воспитательными беседами за очищенной и селечкой от купца Елисеева...

Хорошо сказывается, да инда прескверно оборачивается! «А эт-та что? — усмехаясь нехорошо в белесые еще молодняковые усики, канцелярский подпрапорщик тычет в удостоверительную книжечку, изъятую накануне отправки в стойло холодной из кармана сюртука Лося. Похолодел тот: и зачем только вместе со спасительным писарским билетом накануне, явно машинально, упрятал в сюртучный карман удостоверение сотрудника губернских курантов «За родную трущобу», в коих он редактором по сочинительскому подвалу четвертой полосы зарабатывал рябчики на домашнее семейное харчевое довольствие.

А подпрапорщик, обозленный своим табельным по чину ничтожеством, да еще лицебрея перед собой аж целикового писаря, мстительно записывает в амбарную книгу для рассылки уведомлений «разобраться и наказать», изустно комментируя для побледневшего писаря: «Раз из губернских курантов, то это натурально должно препроводиться по ведомству его превосходительства предводителя. Так что готовьтесь, любезнейший нарушитель благочиния, представить перед кем следует. Это вам не пасквили в свои книжки заносить гусиным пером!»

Вышел ошарашенный случившимся Лось из канцелярии на свежий воздух, а там благодать: небушко лазоревое и солнышко, аж в глазах рябит, лучами своими отскакивает от белого-пребелого чистого снежка, что за ночь выпал. Во дворе, что промеж флигелей участка, давешние молодые городовые тот же снег обметают с кибитки. По молодости и солнышку веселы с утра, да еще вчера после подвигов злодейских завернули заночевать к знакомым курсисткам из тех, что недавно, встретив выходящими в веселии из ресторации, не стали забирать с собою, а договорились завести дружелюбие. Оттого не только веселы молодцы, но даже давно забытое благодушие на них отражается, приветствуют Лося: «А-а, полупочтеннейший! Как спалось-нежилось на наших пуховиках? Ха-ха-ха!»

Как истинный инженер лесных душ, Лось и использовал подмеченные намеки на благодушие. Угостил городских пахитосками от Стамболи, поинтересовался: к кому, дескать, из вышестоящих чинов можно обратиться по части раскаяния и уверения в устремлении к радикальному и повсеместному? «Надоть, полупочтеннейший, ийти прямо к его высокоблагородию майору. Он надьсь принял в управление участок. Сам подполковник по разнарядке сверху на ревизию благонравия в дальнюю чащобу убыл».

Зашел Лось в участок через парадные двери, поднялся на второй этаж, вошел с докладом, мол, писарь такой-то по лично-общественному делу отношение к его высокоблагородию имеет,— через дежурную регистраторшу кобылку — в майорский кабинет. Памятуйя (ведь инженер же душ!), что старшего чина на мякине не проведешь и всякий бюрократ служебный уважает, когда проситель паче всего налегает на округлении периодов, Лось кратко и толково исповедался во всех грехах, только опустив кумовство и разделив общий объем выпитой в гостях очищенной на знаменатель «три». Нельзя ли ограничиться его, майора, устным порицанием...

Майор, пребывавший доселе в некотором рассеянии задумчивого свойства, с какого-то боку заинтересовался (инженер душ это тотчас пронизательски отметил) упоминанием Лося о писарской принадлежности, но для регламентного порядка заученно, отстраненным голосом что-то скороговоркой сказал «о появлении в общественном месте в виде, порочащем честь и достоинство лесного обитателя». И почти сочувствующим голосом добавил: «Что-то вы, представители искусства и научных упражнений, опосля Рождества расслабились. Понятно, от трудов праведных, но блюсти законоуложение даже в праздник следует! Вчера профессор приходил с похожей на вашу просьбой. Позавчера аж сразу два доцента и целикомый оперный бас на гастролях! Э-эх, понимаю вас, творческих личностей... Да-а, вот вы писарь... а реферации, наверное, также умеете сочинять отменно?» — «Конечно, ваше высокоблагородие! Только тему реферации, объем в авторских или обычных писчих листах и срок исполнения». — «М-м-м, я, видите ли, заочно прохожу курс в столичной академии по нашей службе. Запоздал из-за всесветской занятости, а реферацию уже через три дня следует препроводить нарочным попутным. Думаю, листов тридцать писчебумажных, а тема: «Благонравный и моральный облик городского во исполнении идеалов обобществления». Возьметесь?» — «Так точно, вашбродь! — в полнейшем душевном восторге отрапортовал, вскочив со стула Лось,— исполним в срок в высшей степени резонности». — «Ну и ладненько. Жду вас ввечеру на третий от сего дня. Я же сейчас регистраторшу спосылаю в канцелярию за вашим *делом*. Ограничимся замечанием».

♦ «...И вот, други мои писчебумажные, тотчас после такого занимательного разговора с майором помчался иноходью в общенародную публичную библиотеку, вытребовал с десяток брошюр по названной предметной принадлежности и — домой в родную конюшню, к деткам малым, к скандалу с супружницей за невяку к семейно-

му очагу в прошедшую ночь. Помирился, дозволенно опохмелился и за работу! И настолько за эти дни, потрясенный великодушием майора, проникся добрыми чувствами к облику городского, верноподданностью и благонамеренностью в отношении обобществительной власти, что создал, не постесняюсь прилюдно похвастаться, шедевр, достойный пера Макиавелли и Гвиччардини*! А майору от души желаю по выпуску из академии дослужиться до полковничьего чина. «Все хорошо, что хорошо кончается,— резюмировал Лев,— однако ты, брат Лось, идучи вновь к куме, оставь дома удостворенье курантовское, а то бед потом не оберешься. Да и нам почти забытого в верхах Лошака припомним!» — «Гп-пру, Лев! — встрепенулся Степной Волк,— не буди лихо, пока оно тихо! А ты, достопочтеннейший обожатель кумовства, не хуже чем в реферациях для твоего нового приятеля майора блюди мораль и нравственность». После чего своим замечательным голосом исполнил про кума, что к куме судака тащит. И добавил по окончанию сольного номера: «Чтой-то у нас под занимательную повесть Лося все бутылки доньшко слишком скоро казать стали. Давайте еще раз коллекту спворим и пошлем кого-нибудь за добавкой на сладкое. Поддержим, значит, еще Горькоусого Моржа почин о содружестве писарей с правоохранительными чинами.— Это я о поездке его на Беломор-канал говорю. А у нас — Лося с майором-академистом! Так сказать, городской на посту бодрствует, натуральным предметом обобществленную нравственность блюдет, а вдохновенный — кумой, полуштофом очищенной или удачным визитом за рябчиками в издательскую кассу — писарь строчит гусиным пером день и ночь (если жена или кума не воспо требуют к себе) про деятельность по распространению в обществе здравых мыслей о всеобщем отрезвлении с исключением из обихода лесных обитателей излишних чувств и мыслей, заодно и совести, в части намеков на потрясение основ и подрывание устоев...» — «Ты, брат Степной Волк, зарпортовался совсем. При чем здесь совесть? Вот у кого она есть, тот и побежит за добавкой!»

Отправили Барсука Песенника, хотя и заметно расслабившегося, но по шахтерского рода занятию прошлого крепко чувствующего под ногами твердь земную.

Пока твердолопый Барсук Песенник в темень и густой снегопад исполнял общественный заказ, несколько смиренные выпитым горячительным и надышанной духотой крохотного кабинета-берлоги Льва писари перешли к сочинительской части неуставной ассамблеи. Сам хозяин задал для поддержания у подчиненных бодрственной действительности тему: является ли трехчастное строение более всего сообразным осязательному содержанию классического романа?

...Надо заметить, что к описываемому золотому времени для писарской, не исключая и тулуповскую, самостоятельности под опекой Лесписа и его губернских отпочкований если не каждый второй, то третий-четвертый безо всякого сомнения обилеченный являлся сугубо грамотным по части словесности, понеже прошел курс Высшего писарского училища. Потому в Тулуписе на вечерних междусобойных ассамблеях не токмо штофную очищенную под пряного рассола селедку (лучше атлантического улова — она икрестее) употребляли, но и теоретизировали о содержании писчебумажного искусства, касаясь высоких материй. Зачастую высказывались здравые мысли о перенесении идеалов на почву практической полезности, что положена в основание всякой лесной обобщественности. Иногда в восторженном полете фантазий, обычно после пятой-седьмой стопок, до таких эмпиреев договаривались, что Лев — наравне со всеми угощающийся, но по причине наложенного на него подполковничьего чина не расслабляющийся — опасливо прикрывал отворенную для вентиляционной свежести присутственного места форточку и призывал к вящей благо-

* Выдающиеся итальянские политические мыслители, писатели и моральные эссеисты конца XV — начала XVI вв. (прим. ред.).

намеренности: «Что-то, братьцы писари, лошаковским задором у нас запахло. Или рябчики карманы жгут? Наскучило получать присвоенное содержание, а? Так-то, лучше нишкни. Время хоть на дворе стоит благодушное по общему климату, но ведь всегда по нашей лесной докуке невиновный как раз за виноватого сойдет!»

На такое отеческое остережение грубый Степной Волк, изрядно ободренный очищенной, с шутейной сурьезностью обыкновенно именовал Льва душителем общественного цветения и уполномоченным Третьего отделения известной канцелярии. И нарочито восторженным голосом исполнял соло и а капелло героическую песнь о Стальном Барсе.



Главный редактор провинциального литературного журнала «Речные зори» Яцышен Андреян Макарьевич совсем отчаялся заинтересовать губернские власти полезностью своего издания для поднятия культуры и образования вверенной этим властям губернии. Вроде как все власти — и законодательная, и исполнительная — не отрицают этой полезности, но участвовать финансово в издании журнала все как-то не получается: администрация кивает на думу, а думцы, ссылаясь на укрепление вертикали власти, все на администрацию валяют. Словом, круг замкнулся, никто не хочет помочь инициативнику Андреяну Макарьевичу. Ладно, власти, у них забот полным полно: как, не отвлекаясь на капитальное строительство и ремонт коммуникаций, что хлопотно, долго и не броско для высоких проверяющих комиссий, поскорее истратить спущенные сверху от нефтедолларовых щедрот. Но даже собратья-литераторы в лучшем случае не замечают журнала, чтобы, не дай бог, Яцышен не привлек их к редакционным работам, а другие и вовсе вредительством занимаются. Политико-эротический романист Сухариков пасквили на журнал и на Яцышена в заводских многотиражках тискают, а историко-порнографический сочинитель Омшаников все обижается: дескать, не упрощают его опубликовать в журнале трехтомную «Песню о коршуне». И вообще какие-то явно клинические личности, члены писательского союза, надоедают.

Тяжелое это дело, современную литературную ниву возделывать!

...На сей же раз, уловив в предложенной Львом дискуссии сакраментальное числительное «три», начал отвлекаться на противоречие повсеместного и радикального отрезвления лесного народа с идущей еще от князя Владимира традиционностью питья «на троих». Лев все же попытался вернуть русло общей настроенности к преимущественности трехчастного дробления романтических сочинений, но растворилась дверь, в которую вошли обсыпанные крупнохлопчатым снегом Барсук Песенник и за ним с овчарной собакой на постромке здоровенный усатый цыган в длиннополой драповой шинели с каракулевым воротником, что в лесном народе шутейно называют «гроб с каракулем». Цыган изумленно тарашился, сверкая белками выпученных глаз и явственно шевеля иссиня-черными усищами. Овчарка же, заприметив на столе порезанную на газете колбасу, уважительно взмахнула хвостом. Известно дело, цыган лошадь через два дня на третий кормит, не говоря уж о собаке...

Барсук тем временем выставлял из своей дорожной сумы полуштофные бутылки и рассказывал о встрече с родственной по песенной приязни цыганской душой, рекомендуя обилетить оную душу, а собаку поставить на довольствие Тулуписа, проведя в окладных листах, что ежемесячно отпечатывает на ундервуде Птица-Секретарь, по графе сторожа тулуписовского присутствия.

...Даже давешний герой дня Лось, лишь недавно приобщенный к лику писарей, сообразил: сдружившиеся на почве приязни к стихотворно-песенному искусству Барсук с цыганом (обнеся собаку) на уличном снежном просторе распили-таки полуштоф. Вот его и понесло на человеколюбство и всеобщее доброжелательство после превышения регламентной дря природы нормы. Хотя бы и высокой, как у бывшего шахтерского углекопателя.

...Долго потом цыган, сначала детишкам, потом и подрастающим внукам долгими зимними вечерами рассказывал у каминного огня (был он оседлым, в лихоимные «девяностые») соорудившим для семейства двухэтажный шатер с мезонином и флигелем — рябчики за торговлю опиумным маком) о далеком времени обобществления. Наиярчайшим воспоминанием у него выходило случайное знакомство с обитателями то ли богоугодного заведения для душевно хворых, а может и какого присутствия по непонятой им, слабограмотным (только надписи на рябчиках разбирал по складам) ромалэ, чиновной принадлежности. Веселые и нетрезвые обитатели этого заведения все зазывали его и собаку Рекса куда-то записаться согласно табели о рангах, угощали очищенной, а Рекса краковской колбасой. Старшой же их лев, хотя по обличью медведь, все предлагал ему сыграть в древнеиндийскую игру в маленькие фигурные пацки, настаивая, что-де Индийское плоскогорье суть родина их, ромалэй. «Хорошо, внучата мои, ноги мы с Рексом сумели унести, а то бы привели в полную нетрезвость и сожрали на закуску!»

♦ «Какую натуру из самой гущи лесной жизни я вам нашел! — зашелся в восторге Барсук Песенник, когда затворилась дверь за ошарашенным цыганом и изумленным псом,— прямо тебе, к примеру, Степной Волк: садись за стол, запасшись стопкой дестей бумаги и пуком гусиных перьев, и сочиняй романище аж в двух томах! Сам понимаешь, в *Нашем лесу*, особливо в столицах и университетских центрах, на ура привечаются сочинения о малых классификационных — по Линнею — семействах лесных обитателей. Потому и гонорарные оклады за них начисляются по верхней табельной ставке». — «Спасибо тебе, брат Барсук, на добром слове. Отрезвишься, сам поймешь, что глупость сморозил. Свято место пусто не бывает, а по части цыган даже в нашем Тулуписе оно давно занято по рифмовальной части! Зачем же я стану трудовой приварок у Дрозда отымать?» Присутствующие с Волком согласились. Разлили по очередной.

Действительно, не обиженный музами Каллиопой, Эрато и Эвтерпой в рифмовании и чувственной предметности Дрозд, известный и в соседних лесных губерниях,

еще до писарского обилечивания тискал в обоих тулуповских курантах недурственные лирические вирши, указывая в скобках после своего прозвища: *перевод с цыганского*. Сочинительский и просто читающий народ посмеивались, но обилеченные писари, хорошо знающие гонорарные таблицы, мигом сообразили в чем тут дело, начали приставать к Дрозду: укажи-ка нам на такового способного к сочинительству цыгана? И откель ты сам-то цыганское наречие ведаешь дабы переводить?

Дрозд неопределенно отвечал, что цыган тот кочевой, таборный, дескать, «цыгане вольною толпою по Бессарабии кочуют», встречи наши случайны, когда он, Дрозд, одержимый муками творения, «обходя леса и веси...» и прочие благодущные байки рассказывал. Переводы же он рифмует по подстрочнику, который с оригинальной записи для Дрозда за умеренную плату делает знакомый ему тулуповский цыган — оседлый и грамотный. Собратья по перу, выслушав оные благоглупости, с серьезным видом соглашались кивали головами.

Обычно после допроса Дрозда писари из очень грамотных, окончивших курс Высшего писарского училища, пускались в исторические реминисценции. Сейчас, мол, некоторые ловкачи — не указывая конкретно на Дрозда, но соблюдая аглицкое правило: беседующие джентльмены не имеют в виду присутствующих — свои вирши подписывают аки перевод с какого-либо диковинного для лесного обитателя наречия, за что им ставку построчную в рябчиках повышенную уплачивают в курантах. Но и они не первые шельмовству такому ход в писарском обиходе дали. Здесь пальму первенства держат классики из Галльского леса, обитатели которого признанно самые охочие до рябчиков изо всей Европы. Здесь почин дал Дюма-пер, указав своим писарям-«неграм» как можно более вводить в повествования строк прямой речи из одного-двух слов. В те времена в Галльском лесу издательские учреждения и за прозу начисляли ихние рябчики построчно.

Но и наши, особенно из рифмовального сочинительства которые, в начале этого века все пробовали побольше рябчиков из издателей-книгопродавцов вытянуть. В этом соревновательном действе издатели шли на полшага вперед, но поэтические сочинители не зевали, не благодуществовали в своих лавровых венках, но тотчас, как народ молодой и подвижный, настигали рябчикодателей. Как только те и другие не ловчили! Введут издатели таксу оплаты построчно — тут же Маяковский с сотоварищи из футуристов, а за ними дадаисты и ничевоки, начинают сочинять «лесенкой» — по одному-два слова в строке. Дескать, по строкам как по лестнице они взбираются к идеалам свободы и общественности. Огорчатся донельзя издатели из того же «Мусажета» и «Шиповника», перекинутся на зайчиковый тариф по числу букв в строке, но не тут-то было! В сей же миг даже серьезный Михаил Кузмин, аки человек-колюбец, восплает к архаичному александрийскому стиху, в котором строки столь длинны, что еле умещаются по ширине страницы.

...Много тому примеров в мировом и нашем сочинительстве. Нет, конечно, не рябчиковая ставка первенствует и лежит в основании всякого писчебумажного творчества. Упаси бог так полагать! Было бы такое, так ко всем словесным творцам можно отнести пютчевские слова:

*Теперь тебе не до стихов,
О, слово русское, родное!*

Нет, семижды семи нет! Серьезный сочинитель, а не случайный попутчик муз источников Иппокрена и Кастальского ключа (дескать, придет иногда идея в голову что-либо сочинить этакое *a la* Хлестаков), беззаветно отдается своим творческим ощущениям, порой даже отгоняя навязчивые мечтания о Скрижалях. Но для покой-

ного, рассудительного творения высоких истин в приближении к идеалам добра и справедливости голова, руки и ноги (они лишь волка кормят...) сочинителя не должны отвлекаться на предмет добывания продовольствования, обмундирования партикулярного, прогонных и представительских — для публичности потребной. По такой раскладке рябчики для творца писчебумажного искусства суть не роскошь и баловство, но приравниваются к гусиному перу («Я хочу чтоб к штыку приравняли перо!»), то бишь есть оружие производства. Здесь даже Карла Маркс не возразит, будучи создателем науки о накоплении и распределении богатств. В таком свете погоня за числом рябчиков за строку или букву представляется вовсе не хитроумием, но лишь дитяческой попыткой стать менее зависимым от обстоятельств обыденной жизни в части продовольствования и иже с ним связанного. И только. Наитие по ребяческой наивности. Да и дураком, каковых даже в церкви бьют, в обыденной жизни вовсе не следует быть.

...После удаления из присутствия Тулуписа озадаченного цыгана с верным Рексом Лев все же сумел призвать развеселившихся писарей к серьезной пристойности и вновь повернул их мысли к теории сочинительства в части соображений о предпочтительной трехчастности действия романа. Свои утверждения Лев основал на том, что троица есть основание всякого дела: от церковного до обобщественного писарского: «...Первая, заглавная часть романа открывает читателю перспективу самого сюжетного действия, каковое и свершается в основе своей во второй части. Завершающая же предуготовляет слабограмотного к «опусканию занавеса», а вдумчивого к восприятию морального, нравственного урока, преподанного чтением и...». Здесь грубый Степной Волк возник поперек рассуждений умничающего Льва в том наклонении, что «вот Достоевский тебя не слушал, наверное, просяживая в Баден-Баден гонорарий за «Игрока», потому самый свой гениальный роман «Братья Карамазовы» сочинил не в трех, а в четырех частях. Да еще с эпилогом! И морализующий стержень, то есть легенду о Великом инквизиторе не в окончание вставил, явно не следуя твоему совету, а во вторую главу. Так у кого учиться будем: у Федора Михайловича или у тебя, Лев?»

Только Степной Волк упомянул о Великом инквизиторе, как во внезапно захватившей тулуписовское присутствие пронзительной тишине, при наглухо закрытых входной двери и оконной форточке, на оробевших от непонятого еще предчувствия повеяло зябким холодом, а в ушах глухо зарокотал незнакомый им голос, как из преисподни:

*В великолепных автодафе
Сжигали злых еретиков.*

Не успели потерявшие дар словоохотливой речи писари сообразиться настоящим моментом, как заскрипела (кстати, обычно бесшумная; петли ее Лев самолично раз в полгода по-хозяйски смазывал) тягучи дверь и... в комнату присутствия вошел Великий инквизитор.

...Вплоть до отмены обобществления, когда воочию начали сбываться вещи предсказания Великого инквизитора, присутствовавшие в тот достопамятный вечер у Льва тулуповские писари и в полной отрезвленности, и в различной хмельной наглядности без конца обсуждали: что же тогда с ними такое приключилось? Кто-то склонялся к общему гипнотизму, произведенному предбывшим перед видением Великого инквизитора цыганом, обиженным непринятием в писари. Известно дело, цыгане могут кого угодно околдовать; цыганки-гадальщицы тому понятный всем манер. Опять же издавна лесной народ подозрение на ромэлов держит в части их кумовства с тайными силами. Сам Лев склонялся осторожно к переусердствованию своих подо-

печных в сочинительстве романов и поэм с вольнолюбивым, изустро властью дозволенным уклоном в сторону всяких небылиц, что и побуждает к проявлению лишних чувств, мыслей и гражданской совестливости. Понятно дело, Лев рассуждал туманно, но по пристойности; наложенный на него чин обязывал...

И другие мнения глубокомысленно излагались. Только на очищенную в полуштофовых никто не грешил: в эпоху обобществления с монопошкой строго регламент держали. И в лавках, а тем паче у целовальников в трактирах. Это все потом появилось, когда с лихоимных «девяностых» начали отравлять пьющий лесной народ.

Point sur les "i" поставил Степной Волк, оживив грамотных писарей, что прослушали курс Высшего писарского училища, потому не только «Преступление и наказание» по гимназическому расписанию прочитавшие, но и другие романы Федора Михайловича. «А вспомните «Братьев Карамазовых», после упоминания которого в тот вечер и случилось видение Великого инквизитора? Алеша Карамазов возражает брату Ивану, что-де встреча Христа с Великим инквизитом в шестнадцатом веке в Севилье не могла иметь места быть, коль скоро не отражена она в святоотеческих и гражданских писаниях. Иван же, равнодушный к церковным догматам и историческим сочинениям, где всяк автор протаскивает, сообразно своим встревоженным бессознательностью мыслям, нужную ему идею, чаще *idea fix*, успокоил брата. Почему бы это не считать просто фантазированием досужего сочинителя легенды? Или дряхлому уму и плотию в свои девяносто лет Великому инквизитору его же собственные тайные мысли о подпадении еще восемь веков тому назад христианства во власть Князя мира сего, то есть Антихриста, приобрели предметность в воображаемом монологе его перед Христом, не проронившим ни единого слова? Ведь суть-то легенды не собственно в фантазмагии невероятного посещения Христом Севильи вдругодень — после сожжения на костре сразу ста еретиков и его встречи с Великим инквизитом, но совсем в ином, о чем только что было говорено.

Сомнения не покинули Алешу Карамазова, но предуготовили его к рассказу брата Ивана.

Так и мы, якобы лицезревшие в достопамятный зимний вечер явление Великого инквизитора, не будем ломать головы догадками, благо оные, в смысле головы, на другое дело нам даны, но воспримем все как есть: голос *de profundis* о наступлении скорой для нас, писарей, поры полного ничтожества... увы».

Все и согласились с разумными доводами многоумного Степного Волка.

♦ Вошедший Великий инквизитор по немислимой дряхлости своих лет имел наружность иссохшей просмоленной египетской мумии. Комната вмиг наполнилась ароматической затхлостью слежалых восточных специй, что наблюдается в лавке колониальных пряностей жарким летом. Хорошо зная не меняющийся столетиями писарский обиход, Великий инквизитор достал из полураспахнутой полы плаща квадратную четвертную бутылку, покрытую патиной древности, в которой тяжело переливалась густая малага; поставил с приличествующим пристуком на пиршественный стол со словами: «Это вам привет от собрата по сочинительству Мигеля Сервантеса де Сааведра». Востроглазый и сметливый по части компанейства Пушистый Котик мигом подставил обтянутое дерматином полукреслице, смахнув с него невидимую пыль. Великий инквизитор поблагодарил опусканием сморщенных временем век и начал свой монолог.

«Люди вы грамоте знающие изрядно. Потому не буду передавать вам сказанного мною четыреста лет назад в Севилье Христу, посетившему наш грешный мир. Ваш великий Достоевский все верно передал в «Братьях Карамазовых». А кто не успел прочесть роман, увлеченный зарабатыванием рябчиков, тому сообщу основную мысль, вывод из моего монолога, донесенного до Спасителя. Даже не своими словами, но Бер-

дьява, вашего же леса религиозно-философского мыслителя: *«Бог открывает себя миру, но Он не управляет этим миром. Этим миром управляет князь мира сего»*.

Такое управление, отсчитывая от сего дня, вступило в полномочную силу тысяча двести лет тому назад. Но только сейчас слуги Князя мира сего, в числе которых я далеко не из последнего десятка, можем сказать притчей: не тот пахарь, кто много пашет, но тот, кто любит на поднятую им пашню. Под водительством Князя Антихриста мы уже сам-пятьдесят урожай наш собираем, не выказывая ни малейшего сочувствия к тревогам и тоске уходящего в полное небытие мира забываемой христианской морали, что некогда после Нагорной проповеди Христа, она же Заповеди блаженств Нового Завета, так вдохновила человечество. Увы, все доброе в подлунном мире преходяще. Потому четыреста лет назад и продлил Князь мира сего мою земную жизнь, обратив ее в вековечную, что надобность во мне возрастает век от века. И именование мое сейчас иное: *Великий глобализатор*. Но поскольку такое тавро лишь к окончанию сего тысячелетия, до которого ничтожное по историческому измерению число лет осталось, войдет в обиход, то для вас остаюсь пока Великим инквизитором.



За спиной каждого несправедливо живущего стоит черт, житель преисподней. Примерно так святое Евангелие выражает свое отношение к институту частной собственности. То есть каноническое христианство, православие особенно, совершенно однозначно относит ее к проявлению в человеке темных сил от Антихриста. Идеал нравственного человека по Христу — это указание совершенствования людей и общества в целом на многие века и тысячелетия вперед. Преодолев инстинкт частнособственничества, человек перестает быть биологическим видом, животным и начинает выполнять ту миссию, для которой он и был создан всей предшествующей эволюцией. Это почти удалось в краткой истории СССР, но Антихрист (временно) одержал победу руками своих верных клеветов на Земле — «атлантистов» Запада, исповедующих извращенное Кальвиным христианство; основной завет протестантизма: Господь любит только избранных, а таковых отличает исключительно большое личное богатство.

Дай бог нашему теленку волка съесть, как говорят в вашем лесу, испытывая сомнения в провидческих словах, но явился я к вам не с предостережением, каковое всегда глупо звучит для живущих и одним днем, и незыблемой верой в некие светлые идеалы, что положены в основание всякой общественности... у вас даже обобщественности. Нет, по регламенту канцелярии Князя обхожу шар земной, вхожу в гущу его обитателей, в разные присутствия навроде вашего, в счастливые и нестройные семьи, в парадные подъезды правителей и чинов первых классов, в трущобы и чащобы живущих первобытно, к последнему нищему и самому богатому на земле. Вхожу и рассказываю, как вам сейчас, о скором явном, ибо неявен он давно, пришествии Князя Антихриста с умерщвлением даже робких воспоминаний о Христовой морали.

Опять же это вовсе не антихристово «просветительство», но поручено мне ответственным за то столоначальником департаментской канцелярии Князя таковыми пробами определять готовность мира к окончательному отходу от христианских правил жизнеустройства в преддверии перехода под полную и явную державность Антихриста. Учитывая разношерстность моих слушателей, я и ориентир держу на их интересы. Для вас, всенесомненно, на эмпирии и практическую предметность сочинительства в наступающую эпоху.

...Как в нашем с Христом свидании в Севилье шестнадцатого века, убеждаю вас речь мою не прерывать разного рода вопросами, эмоциями и всякими иными междометиями, коль скоро они по существу зазвучали бы благоглупостями. Ибо я знаю все наперед в ходе Истории, вы же суть сущие неразумные дети, ибо всякому живущему законами ее, Истории, не дано даже в нулевом приближении, как выражаются натуральные философы, то есть упражняющиеся в математике, догадываться о бытие внуков... не говоря о правнуках. Итак, слушайте. Степному же Волку не должно злоупотреблять подаркам великого и наивного Мигеля Сервантеса де Сааведра. Успеет еще на наших с вами ростанях.

♦ Хотя вы и не столь великие, лишь в потаенных мечтаниях обзирающие окрестности Скрижалей, но столь же наивны, как и мой севильский земляк Сервантес. Творите себе по отпущенной матерью-природой мере брызг-таланта Кастанльского ключа и источников Ипокрена; удовольствие, что не ведомо большинству лесного народа, от сочинительства имеете вдосталь, да и на продовольствование с прогонными и подъемными умеренно, как то принято в вашем обобщественном мире, рябчиков от курантов и издательских заведений получаете... и не задумываетесь: почему вам *единственным* на земле такая благодать положена и сколь еще по быстротекущему времени сие продлится?

Знаю, возражение припасено: Горькоусый Морж убедил Стального Барса в благоденственной пользе всяческой поддержки писарства как блага, необходимого для развития и цветения обобщественности. Что ж, соглашусь сообразно такому извороту течения Истории. Отчего я говорю об этом с видимым огорчением голоса? — Да по той причине, что появление *Вашего леса* с первенством Марксова обобществления и объявлением всякой собственности сверх положенного регламента умеренного содержания есть прямое потрясение основ и подрывания устоев царства Князя мира сего, которому я подчинен, что сложились во всех умах и общественности тысячелетие с лихвой назад, о чем я и сказал Христу во время той достопамятной встречи, воспроизведенной великим вашим Достоевским. И Великий бунт *Вашего леса*, случивший еще до появления на свет большинства из вас, хотя бы на время и далеко не во всем земном мире повернул нравственный, моральный эдикт Истории вспять? Это стало сродни второму пришествию Христовой веры в уже давно отвоеванный у него Князем мира сего ареал духовного властвования. Вдругорядь после давних проповедей Христа «не хлебом единым жив» в *Вашем лесу*, спустя две тысячи лет, зазвучали

призывы к исполнению заповедей Нагорной проповеди, хотя бы они и были наречены по-другому: о следовании морали (читай — Христовой) обобщественности. И здесь не пресловутое «читаешь книгу, а видишь фигу», но точнее следование в иных словах примату свободы духа над телесностью, то есть над хлебом и дающим оный в искушении отказа от такой свободы. Как Христос в своей земной жизни богочеловека отверг в пустыне три искушения Князя мира сего, так и ваш обобществленный лесной житель не преступает нормы христианской морали. Если бы и хотел поменять свободу своего духа на дармовой хлеб и рябчики (а слаб по натуре земной обитатель!), то прочные устои общественности не позволят. Крепко заложено в обобществленных головах: «рад бы в рай, да грехи не пускают» и «скорее верблюд пройдет через игольное ушко, нежели богатый попадет в рай».

Да чего это я вас, многомудрых, на худой конец многохитроумных, на обобщественную жизнь склоняю! Сами все, почитай от младенчества, ведаете. Здесь важен вопрос иной: зачем Истории, для которой и Христос с его Св. Троицей и Князь мира сего на одних фемидиных весах взвешиваются, то есть полностью беспристрастна она ко всем чувствованиям, идеалам и грехам... для чего потребовалось Истории в уже обустроенное под властвование Князя Антихриста течение жизни революционным манером вновь вводить исповедание на 1/6 части земной суши морального жизнеучения своего антипода Христа? Хотя бы, как уже сказал и вам прекрасно ведомо, в другом лексиконе. Но это лишь Князю этот возвратный кульбит нужен, как после ужина горчица. История же повелевает незримо надо всем и всея: Христом и Князем, душами и телами, великой свободой духа и неимоверным рабством воли, честностью и предательством, ибо она ведет все зоологические разновидности живых тварей — от мельчайшей тли до совершенства природного деяния, то есть человека — путем эволюции в только ей ведомом устремлении. Также же и в части свободы духа, не меняемой на дармовой хлеб, что лежит в основании всякой общественности.

Только не говорите, что История полностью и без оговорок признала правоту Марксова учения об обобщественном накоплении и распределении богатств! Этот изрядно ученый муж все верно и без обиняков поведал об обобщественности, к которой мир в некоторое, пока еще далекое, время оно неизбытно придет. Но только не в общественном цветении Марксовом с его золотыми нужниками, но в ином качестве: всеобщее и полное равенство, обеспеченность продовольствованием и допустимыми единым мировым регламентом телесными радостями, но — без личностной свободы, как ее проповедовал Христос. Словом, винтики-гаечки всемирной машины — как таковые на бумагопрядильных фабриках Иваново-Вознесенска, или как там он у вас сейчас именуется? Я не неграмотный в географии, просто предыдущий раз побывал в *Вашем лесу* век тому назад, когда, незримый, через плечо Федора Михайловича подглядывал, словно гимназист-приготовишка, в каковом одушевлении и натурной действительности перо великого писателя и мыслителя вырисовывает мою парсуну. Мысли, конечно, тож.

Не по Марксу будет представлено будущее всемирное обобществление. Здесь в пору сказать: свят дух на землю, да диавол сквозь землю — но только не в том понимании предмета сей вашего леса присказки, что Христос в душах всегда побеждает Антихриста, но напротив: в грядущем всеземном обобществлении от заповедей христианства, упомянутого свят духа, остается только оболочка, лежащая в основании любой общественности, этакое механистическое соединение, каковое наблюдаем в животном, бездуховном мире, навреде муравейника, пчельника, а в местах иных климатов — термитника, в растительной природе — мшанник, кораллы в индийских морях. И для бывшей, увы, уже во многом и сейчас предбывшей, вершины творения природы — человека вашего же леса — глубинный философский писарь Зиновьев,

что сейчас в высылке в Немецтинскую дубраву, придумал его будущее поименование: *человекник*. Словом, охота смертная, да участь горькая...

Антихрист же, он же Князь мира сего, по департаменту коего и я, многогрешный, специальным чином удостоен, статут которого уже сообщил вам, по таковой при- сказке «сквозь землю» полагается жидкателем душ и тел, дающим хлеб взамен сво- боды духа, от которого все уже отказались, как я и говорил Христу четыреста лет назад в Севилье. Все и вся произрастают из земли, а Антихрист сквозь землю управляет всем и всея.

♦ Горька для всех нас, слуг Князя мира сего, была работа, да хлеб оказался сла- док. Это я возвращаюсь к уже заданному себе самому вопросу: для чего Антихристу потребным стал опыт с обобществлением на некий срок *Вашего леса*? Это вовсе не была *error legis*... извините меня за проскакивающие в речи латинизмы — с юных лет привык говорить на языке церкви Св. Петра — словом, это вовсе не было ошибкой, обусловленной и связанной с законом Истории, движение которой суть поиск маги- стрального пути с постоянными отклонениями на ложные и тупиковые тропинки. Нет, конечно. У закона Истории ошибок по определению выискать невозможно!

Как и История, не ошибался Маркс, провозгласив: только всем обитаемым миром можно перейти в обобщественную действительность! Поневоле — а куда девать- ся! — «поправили» его Великий Тигр и Стальной Барс, раз уж История поставила в *Вашем лесу*, отдельно взятом, свой опыт обобществления. Опять же это ее, Истории, была пробная тропинка наперед еще не налаженного широкого тракта: без выверен- ного направления, по которому когда-то будут мчаться на перекладных фельдкурье- ры, на своих парных и тройках баре, рекрутов повезут одиночными на доходягах, оброчники в пешем порядке потянутся на городской заработок, уланы и гусары в лихих усах погарцуют поэскадронно, нищий с сумой обочиной потащится туда, где хлебно подают Христа ради милостливцы... Еще не поставлены ямские подставы, не срублены придорожные трактиры и сугревные в морозные зимы кабаки, перед кото- рыми безо всякой выучки, явно жалея своего замерзшего ямщика, останавливаются, как стреноженные, лошадки.

Вот эта-то пробная тропинка обобществления волею движетельницы мира Исто- рии и пролегла через *Vau лес*, каковой показался ей самым удачным для задуманного предприятия. Оно же идей и наглядным предметом имело показать саму возмож- ность и достоверность обобщественного проживания — для будущего всемирного творения. В то же время наглядность эта должна свидетельствовать, что грядущая всепланетная обобщественность не может осуществиться под звездой Христовой морали, как сугубо первенствующей. И даже под знаком соревновательности в двуумирате Христос — Антихрист, как то следовало бы из диалектической науки неметчинского философского сочинителя Гегеля, на которую опирался Карла Маркс, создавая учение об обобщественном накоплении и распределении богатств.

Увы, для вас, уверовавших в Гегеля и Маркса, соревновательность эта, как я ска- зал Христу в Севилье, завершилась уже много-много веков назад. С тех пор и посея- час, и далее вперед мир идет к обобщественности механической, о чем я только что говорил, не Христовой, и не Марксовой, но под знаменем Князя мира сего! В том и сущность опыта Истории над Вашим лесом, дабы в иезуитской манере — не забы- вайте, я есмь Великий инквизитор и мне поручен был оный перевести от Марксовых эмпирей на почву 1/6 части земной суши! — что есть высшая логика, показать: обобществление есть не бесформенное чаяние, но предусмотренная Историей бу- дущность земного бытия. Но таковое возможно только лишь для всех и всея — здесь и Марксова правота! — при этом душевная свобода изничтожается в обмен на регла- ментированный хлеб, равно как Христова мораль, заменяемая на более низшую, вет-

хозаветную мораль запретов. Все станут равны в грядущем человеинике, но то единообразие тли. «*Они не будут уже ни алкать, ни жаждасть, и не будет палить их солнце и никакой зной!*»*.

Ваш же лес уже скоро исполнит предопределенную ему Историей горькую судьбину, и разрушена будет его Марксова и Христова благонравная обобщественность. И пойдете вы в едином строю в диспозиции общественного человеиника. Разрушат же внешние и внутренние супостаты. Даже поначалу обезумевшие обыватели, не соображая, что имеем не жалеем, потерявши слезы льем, восторженно будут повторять вослед за кукловодами из моего департамента: суконце-то не издалось, или издалось не порно.** И вы же, писари, даже без рябчиковой приманки, станете в азарте поносить вскормившую вас настоящим манерам эпоху общественного цветения! Даже я, Великий инквизитор, в лучшие свои времена отправлявший в один день на костер автодафе до сотни грешников, стану в не столь уж отдаленные времена почти что негодовать на безумство отрекающихся от идеалов и предметной содержательности ушедшей эпохи обобщественности в канонах Христовых заповедей и порой про себя повторять: бояся Вышнего, не говорит лишнего... не клеветчи на прошлое без основания на то. Истинно сказано древними мудрецами: *fragilitas humana* — непрочна человеческая природа! Вы же суть человека в зверином звании и чинах... Как дитя малое для его будущей благовоспитанности сечь потребно умеренно, так и вас, забывчивых, палками надо было не забывать порой отхаживать. Палка-то нема, зато дает ума!

Вас, писарей, мне особенно жалко: в человеинике надобность наличия вашего исчезнет. И Леспис с приданными ему губернскими «писами» выполнит в скорое время установленный им Стальным Барсом и Горькоусым Моржом нравоучительный урок. Извиняюсь за преждевременные ваши похороны. *Dixi****».

В наступившей зловещей тишине Великий инквизитор приблизился к пиршественному писарскому столу, налил из принесенной бутылки полный, «с мениском», граненый стакан малаги многовековой выдержки, молча, как то принято на поминках, выпил до донца, отрешенным взглядом старческих немигающих глаз осмотрел присутствующих и вышел в дверь — в занимающуюся к ночи белесую пургу.

Оцепенение не покидало вмиг отрезвевших писарей. Со стороны окна, в стекла которого, то усиливаясь, то ослабевая, ударили заряды расходившейся пурги — а может едино в мятущихся головах? — раздался громкий, речитативный голос из Неведомого:

*К концу идет повествовань наше
О днях утех, о днях трудов.
Пускай порой наш слог суров,
Но Смерть косою над миром машет.*

*Уделу жизни есть граница,
Пусть не смущает мистика и рок,
Я жизнь отображаю, не пророк,
Рискуя в обобщеньях повториться.*

*Еще звенит последняя струна
И не написана прощальная глава,
Но явствен признак увяданья.*

* Откровение Св. Иоанна Богослова (Апокалипсис), гл. 7, ст. 16 (прим. ред.).

** То есть оказалось плохим; здесь «порно» — не из нынешнего лексикона... (прим. ред.).

*** Я сказал (лат.). Этим словом Великий инквизитор завершает в «Братях Карамазовых» свой монолог перед Христом, определяя его назавтра на костер (прим. ред.).

*Перелистни страницу, мой читатель,
А там — горчее валерьяны капель
И боль и оптимизм нелегкого прощанья.*

...Даже громогласный скандалист Степной Волк непривычным для него и окружающих срывающимся на фальцет тенорком пробормотал: «Вроде как и выпили-то с гулькин нос, а вот нас разобрало и к единому знаменателю привело...». Лев сдержанно рекомендовал не увлекаться раздумьями о слишком далеком будущем, в котором, всенесомненно, по-прежнему останется место творческой — в рамках регламента — свободе, обеспеченности и полезной самодеятельности... но запутался в назиданиях и махнул на все лапой. Сами, дескать, по возможности умственной обеспеченности своих голов разбейтесь.

Но здесь взоры всех присутствующих пересеклись, как батарейный пушечный огонь в баталии по единой супротивной цели, на принесенной Великим инквизитором бутылки. Степной Волк подошел к ней, наклонился над горлышком, осторожно вдохнул хищно и вождеденно расширившимися ноздрями. Чуток подумал и налил четверть стакана, пригубил, почмокал гурмански губами и допил малый остаток. Затем наполнил уже целиковый граненый, ввел в три глотка в утробу организма, закусил маринованным пупырчатым огурчиком. «Налегай, ребята!» — и разлил уже по всем питьевым посудинам.

...Ко времени, когда немалой емкости, где-то между четвертью и полуведром, бутылъ сервантесовской малаги показала свое донце, зашумевшие и порозовевшие лицами писари и вовсе забыли о мрачном визитере к ночи. Лев таки успел докончить свои соображения о преимуществе трехчастного построения романтических сочинений. С оными все дружелюбно выразили согласие и начали собираться: в гостях, мол, хорошо, да время позднее, дома жены и детушки заждались. Облачились в шубы и зимние полукафтаны, перепоясались, нахлобучили на головы поярковые шапки, натянули на лапы меховые рукавицы и вышли на метель, в коей и рассеялись: кому куда брести по наметенным сугробам.

♦ Скучно и грустно черкает гусиным пером, переводя дести бумаги на унылые годы, растянувшиеся на два десятилетия с лишком, повествуя о все более впадающем в ничтожество житье писарей, предвещенном тем далеким вьюжным вечером Великим инквизитором. Обобщественность в *Нашем лесу* единым напором внешних и внутренних супостатов заменилась лихоимным частнособственничеством, апологеты которого радикально отрезвили лесного обывателя, попутно поголовно ослобонив оных от ненужных теперь излишних чувствований, мыслей и совести. Равовались пришествию новых времен только торговцы... в числе прочего и названной совестью. *Гостинодворцы китайский товар раскладывали и ожидали оживления промышленности.**

Поначалу все радовались в ожидании реформ, дескать, наконец-то насытимся «шекснинской стерлядью золотой!» Насупротив, в лихоимные «девяностые» еды прежней, привольной, и вовсе не стало. Рябчики тискали уже на миллионных бумажках. Наконец и вождеденные реформы пришли, началось окончательное разоренье. А ведь предупреждали, у которых мозги в головах еще не выветрились: вот уж, придут реформы, узнаете, как кузькину мать (она же теща) зовут! Потом окладные листы на налоги все длиннее и длиннее начали становиться. «Нельзя по нынешнему времени не воровать!» — твердил ополоумевший обыватель, — другие, мол, миллиарды

* Да устыдится тот, кто плохо об этом подумает.— Что-то вроде этого взято девизом одной из вышедших наград Британии ордена Подвязки... И автора не упрекайте в нигилизме: это аутентичный текст из «Сказок» Салтыкова-Щедрина (прим. ред.).

крадут, и все им как с гуся вода, так неужто и нам рябчик-другой не стащить...». Потребовалось лесному обывателю новое, диковинное, ранее неизведанное — так все из чужестранных лесов и прерий навалом за светильных газ и горюч-камень с керосином начали привозить. Ну-у, это у всех на слуху, нечего гусиные перья и дорогие нынче железисто-галлусовые чернила переводить...

Но как же писари вообще и наши тудуповцы в особливости? — Да так, что все сбылось, как Великий инквизитор предвещал. Нет теперь в них потребности: лесной обыватель книги читать разучился напрочь, а слово «гонорарий» самими писарями давно и напрочь забыто.

У Лесписа все его имущество лихие людишки пограбили, да и объявилось этих «писов» неимоверное число. Тулупис же совсем в ничтожество впал — почти что одно наименование в памяти редких числом обывателей еще пока держится. По привычке и свойству пожилых людей: хорошо помнить все далекое от текущего дня. Отобрали у Тулуписа уютный, еще при Царе Горохе сооруженный, особнячок с каминным залом, переселили в комнатенку списанного на снос барака.



*Философический доцент Енукидзе в начале 90-х годов, когда в университете грошовую зарплату выплачивали неаккуратно, по наущению супруги приторговывал пирожками вразнос, отрастив для неузнаваемости знакомыми бороду и стараясь стоять в местах подальше от *alta mater*. Вкусные пирожки с квашеной капустой и картошкой со шкварками пекала искусница Нина-ханум, а сам доцент имел мужественный вид горца и зычный голос. Торговля шла хорошо. Поначалу все свое внимание он сосредоточивал на работе: боялся передать сдачу, внимательно выслушивал покупателей... Но скоро эту профессию освоил, все делал машинально. Появилось время для высоких мыслей. Думал он:*

все философии досужие немцы изобрели, но все ли? Вот встретил он как-то на научном симпозиуме профессора Ореховского из Новосибирска — так тот создает философию ответственности. А вот он, Енукидзе, займется философией личной жизни человека. Полгода торговли разрабатывал ее, а уложилась она в три тезиса: во-первых, следует довольствоваться малым, но стараться сделать жизнь комфортнее, однако не ставить это целью самой жизни; во-вторых, нужно «выбиваться в люди», но не расталкивая никого плечами; наконец, желательна всегда любить женщин — конкретно и полигамно, но никогда не слушать их якобы мудрых советов.

...Стоит коломенской верстой Енукидзе на площади между проходными двух заводов, славой бывшего советского военно-промышленного комплекса и зычно рокошет: «Граждане-товарищи! Кушайте пирожки с капустой и картошкой! Ведь на этих овощах тысячу лет Россия стояла и крепла. И вы выстоите в свалившейся на вас напасти!»

О Скрижалях даже в горячечных снах не помышляют тулуписовцы. Давно никто не слушал курса Высшего писарского училища. Постепенно уходили из этого наилучшего из миров прежние писари. На их место приходили новые, слабо знающие грамоте и полагающие какое-либо совершенствование в сочинительстве излишним... раз за оное рябчики теперь не дают. Словом, к нынешним временам в Тулуписе возобладал уровень прежних фабрично-заводских стенгазетчиков. Писарское же обилечение потребно стало ныне только для титулования на вошедших в модный обиход визиточных карточках. Мало-помалу табельный лист Тулуписа заполнился прозвищами, вовсе неизвестными теми редкими обывателями, что еще по старинке читали книги. Все более появлялось обилеченных дородных зайчих в возрасте. Детушек своих они уже воспитали, а внучат им не всегда доверяли — по некоторой рассеянности характеров и склонности к посещению всевозможных общественных ассамблей. Научившись в наступившем свободном времяпрепровождении неловко рифмовать навроде «розы — морозы», оные осанистые пожилые дамы объявили свои парсуны поэтами и оформили эти утверждения писарскими билетами. Благо обилетиться стало до стыдливой неловкости просто. Бессменный на должности главы Тулуписа Лев благодушествовал и всю канцелярию поручил своему заместителю, по чину Ослу. Был тот по возрасту отчислен майором по интендантству, научился, опять же неловко, складывать рифмы, объявил себя эпическим пиитом. Но даже в либеральные и разболтанные лихоимные «девяностые» и в последующие годы, когда поименование писаря сделалось ругательным среди лесных обывателей, он только с третьего раза сумел пробаллотироваться в члены. Узрев недюжинные интендантские дарования новообилеченного, дряхлеющий Лев и сосватал одного майора на должность Осла, как ответственного за все тулуписовские докуки, в числе которых и обилечение неофитов. В основном рифмователей, ибо для писания прозаических сочинений потребно много времени, пучков гусиных перьев и дестей писчей бумаги. В новом, частнособственническом *Нашем лесу* все это стоило немалых рябчиков.

Новоиспеченный же Осел и учредил при благодушном попустительстве Льва указанную простоту, обложив желающих обилетиться окладным листом в рябчиковом тарифе за вступление в чин писаря: Льву и себе на оклад содержания. «Визиточки» и воспитавшие деток «поэтессы» нестройными рядами потянулись в Тулупис. Всех брали по тарифу, за всех Осел перед Львом предстательствовал. Даже целыми коллектами вошедший в раж Осел начал обилечивать. Допустим, вспомнил как-то на досуге ставший в одночасье обладателем фабрик, заводов, курантов и прочего из бывшего обобществленного богатства Беркут по орнитологическому роду, что в III классе гимназии учитель изящной словесности раз похвалил его почерк в сочинении на заданную тему «Великий Тигр — рулевой обобществления», и возмечтал украсить свою визиточную карточку титлом писаря — как память о пионерском безмятежном отрочестве. Вспомнил и прибыл из своей районной чащобы в Тулупис. А для компанийства и деловых руководств по пути захватил собинного своего заместителя и длинноногую Лисичку-секретаршу. Выложил Беркут на стол Осла обандероленную пачку рябчиков — явно сверх тарифа. Осел же, слюнявя копыта, пересчитал рябчики — как раз на троих по окладу приходится — и всех прибывших из чащобы тотчас обилетили! Много еще каких живописных сцен в Тулуписе в эпоху Осла наблюдалось... Все таковые описывать — дестей бумаги не хватит.

Старого закала писари, еще помнившие внутренние и внешние сущности писчебумажного искусства, продолжали и без рябчиков, как раз навсегда втянувшиеся в оное дело, сочинительство. Один усердный Дятел все пробовал «Всеобщую историю Тулуповского леса» довести до наших дней. Но вот неудача! Только он *point sur les "i"* в своем сочинении свершит, описав подвиги нынешнего губернатора, как того на

съезжую и далее в узилище за взятки, либо по сомнительному рескрипту «по собственному желанию» отчислят по партикулярному реестру. Не везло Тулуповскому лесу с воеводами-губернаторами в наступившую частнособственническую эру. Кто-то с головой ушел в мемуары о былых сражениях.

В лихоимные «девяностые» некоторые ударились в сочинительство историко-порнографических опусов... Много чем еще от безделья, давней привычки и отсутствия рябчиков прежних лет фабрикация тулуповские писари отвлекались от наступивших суровых частнособственнических будней. Но пришел новый век, власть застрожала год от году. Хотя бы на низведенных в полное ничтожество писарей даже местные чиновники внимания никакого не обращали, но которые старой закалки по памяти, а новобранцы-стенгазетчики, особливо воспитавшие детушек поэтессы, нутряным опасливым чувствованием сообразили, что о современном состоянии общественных предметов лучше промолчать. Сочинять же о столь давних делах Истории, никаких писчебумажных свидетельств о коих не осталось. Позтизировать же о «розах — морозах». Опять всплыло старинное правило: выше коллежского асессора чинов не трогать! Даже говоря о более ближней Истории, к примеру о Тулуповске XVI века, на которую тогда орда татарская посягала, наименование этой дружественной национальности заменять монголами! Все это легкие на подъем писари стенгазетного «призыва» воспринимали чуткими ушами — причем не только те, у кого уши выше лба растут.

...В конце концов деяния Осла от интендантства и попустительство одряхлевшего Льва вызвали возмущение еще имевшихся в наличии писарей старого закала. Совсем недавно обоих отрешили от чинов. Они ушли скандально. Может по сей причине в чиновных кругах по линии культуртрегерства смутно вспомнили о наличии в губернии писарей и назначили Львом Тулуписа доверенное и проверенное лицо.

Новый Лев природным своим многозначительным размышлением прикинул: писарство в Тулуповске, равно как и во всем частнособственническом *Нашем лесу*, сведено к полному ничтожеству, выродилось в артефакт Истории. Впрочем, как и во всем мире, где читать разучились и не видели проку в каком-либо поощрении вольнолюбивого — и даже *датского!* — сочинительства. К тому же имел Лев другие многообразные обязанности в чиновных кругах. Потому поступил архимудро, начав с самой процедуры приема его в писари: после единогласного голосования выставил щедро сивухи и жареных поросят, а сам, непьющий, три часа плясал вприсядку с выходом и коленцами, играя на гармонии и распевая частушки.

Первым делом, хорошо усвоив административную грацию, он всех писарей поразил несказанно бурной деятельностью личного почина. Казенным коштом, используя разнообразие приятельств в административных кругах, заказал для нужд Тулуписа на Полотняном заводе бояр Гончаровых, что в соседней губернии, тысячу аршин тонкого выбеленного холста. Порезав оный на столбцы в сажень высотой, энергетический по натуре Лев, обладавший природным даром рифмования (бабка его известной знахаркой была), начертал на них железисто-галлусовыми чернилами вершковской величины буквицами свои стихосложения, одновременно душеполезные и благонамеренные. Объявив себя родоначальником нового писчебумажного искусства с поименованием «выставки стихов», Лев развесил столбцы с нравоучительным содержанием по всем урочищам и чащобам Тулуповского леса, а в губернском городе — на парадных входах присутственных мест, включая съезжую и узилище, а также в актовых залах городских университетов. Здесь следует заметить, что с заменой обобщественности на частнособственность в *Нашем лесу* все училища, присовокупно и двухклассные церковно-приходские, возвели себя в ранг университетов.

Поскольку же чистые холстяные столбцы еще оставались в наличии, то Лев сыскал толмачей, что переложили его творения на неведомые лесным обитателям (те-

перь заново *обывателям...*) диалекты, в коих буквицы пишутся как в зеркале: справа налево. На одном таком языке буквы напоминали следы птичьих лап на свежевыпавшем снегу, на другом же литеры горбились как кошки перед собаками. Эти столбцы Лев попутным аэропланом отослал в назидание умиротворения в левантийскую пустыню, что обочь Святой Земли, где проистекали междоусобные баталии, злодейски поощряемые правителями Заокеанских прерий. Со столбцами летал сам Лев, за что был отмечен воинской медалью.

Еще он поразил оробевших от столь бурной деятельности скромных тулуповских писарей написанием рифмованных поздравлений всем вновь заступающим или повторно утверждаемым чужеземным правителям, в том числе Заокеанских прерий и Блистательной Порты.

Поразив же воображение писарей, Лев возвратился к своим многообразным занятиям в губернской администрации, поручив сеять разумное, доброе, вечное в воображениях членов Тулуписа, окончательно поделившихся на «визиточников» и зайчих, воспитавших уже детушек, новоназначенному Ослу, многоопытному и душепроницательному, и правлению. Однако же им недосуг было что-либо сеять на ниве «визиточников» и зайчих. Правленцев увлекло более полезное занятие: вытребывать — через благожелательное посредничество Льва — с культуртрегерского департамента губернской канцелярии различные грамоты и медали местного штампования, далее распределяя оные промеж себя. Особо ценилась та из них, что давала прибавку к пенсии в полтора рябчика (в живом весе — по орнитологии), но главное — похороны почившего обладателя медали в четвертом почетном ряду от главной тропинки местного погоста.

...Шло вроде как застывшее в серых буднях время. О писарях в Тулуповском лесу и вовсе забыли. И барак с бывшей резиденцией Тулуписа снесли — освобождали место для построения радением и капиталами первогильдейного купца Тофика самой большой в городе, сорокадвухэтажной лавки галантерейного и пищеварительного товара.

Быстро История стирает память о делах и событиях, не попавших на ее Скрижали. Тож и память о некогда бодрой действительности тулуповских писарей. И не вина их, предбывших, бывших и нынешних немногих, в таком забвении. Разбаловавшись всеобщим пиететам в эпоху обобществления, не смогли они встроиться в частнособственничество. Да и во всем мире сейчас деяниями Великого инквизитора, переназванного Великим глобализатором, надобность в писарях отпала: место слова заняла цифирь.

...Еже писах, писах. И вослед Великому инквизитору из романа Достоевского в окончании настоящей летописи скажем: *dixi*».

♦ Спустя полгода после передачи профессором Скородумовым писателю Бурцеву стилизованной под манеру письма Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина летописной истории тулуповской писательской музы они опять-таки случайно (случай по диалектике Гегеля есть объективация субъективного) встретились у входа в гостеприимную рюмочную «Наливай-ка!». Понятно дело, зашли и дружески засиделись на пару часиков.

— Ну как, Андрей Матвеевич, опубликовал свое творение?

— Да-а, напечатал в своей «Срединной России» в двух номерах, так сказать, с продолжением. И даже отдельной книжкой издал к грядущему юбилею нашей областной писательской организации...

— А чего ж изволите, достопочтенный, с этакой кислинкой в голосе о своем писательском успехе сообщать?

— Нет никакого успеха. Не в коня корм, как оказалось. Как в добром *нашем* чапавском анекдоте.

— Во-во, порадуй душу ностальгией!

— Кому ностальгия, а большинству — реальная жизнь. Значит, Петька интересуется у Чапаева: «Дескать, вчера Фурманов все горячился перед бойцами на политзанятиях насчет светлого будущего. А ты, Василь Иваныч, как его себе видишь?» — «Хорошо, Петька, вижу. Вот разобьем беляков, консерваториев всюду понастроим. Будем самогон консервами закусывать!»

— Понятно... хотя нет, ничего не понятно! Ведь в повествовании у тебя получилась, вопреки первоначальной задумке, вовсе не едкая щедринская сатира, но несколько грустное философствование, скорее сочувствие к современным избранникам муз, что выпало им жить в эпоху жестокой глобализации, разрушения СССР, перехода от социально ориентированного сообщества к самой дикой форме, *homo homine lupus est*, частнособственничества, накопительства и потребления. Я разве не прав?

— Прав, дражайший Игорь Васильевич, семижды семи прав. Поверишь ли? — На довольно общие и лично безотносительные аллегории навроде «стенгазетчиков», «визиточников» и «зайчих» никто и не думал дуться. Даже посмеялись дружелюбно. Обиделись, совсем для меня неожиданно, на другое: не нашли, каждый себя отдельно, в аллегориях этих. Хотя бы и обидных для самолюбия.

— Что ж ты хочешь, друг мой письменник, сознание людей нынешних «перезагружено», как принято в высоких политкругах выражаться, на рекламное мышление. А лучшая реклама — негатив! Допустим, не нашел он себя в твоих звериных и орнитологических аллегориях, но разве просто повесть о собратях по перу не интересно почитать? Всего-то под сотню страниц, как помнится, не «Война и мир» ведь?

— Ну ты, друг мой профессор, меня удивляешь! Кто же сейчас книжки, даже в сотню страниц, читает? В лучшем случае их *перелистывают* или *листают*. Опять же в дуду рекламе: красotka, в полупорно приодетая, лежит бочком на диванчике. В руке глянецовый журнал, в другой смартфон или какой-другой «фон». И вслух размышляет: «Чем бы заняться? Дэну позвонить или журнальчик *полистать*?»

Писатели же, уж позволь мне их прежним титулом именовать, и вовсе чужие, в смысле не свои, книги не раскрывают. Не потому что, как тот «чукча не читатель, чука — писатель» из старого анекдота, круглые сутки заняты собственным сочинительством; нет, в них сейчас от писательства только членский билет. Чем-то они заняты... каждый своим. Писать, тем более читать, им недосуг. Я расскажу про предпринятый мною эксперимент, опыт по-русски, по проверке: читают — не читают, но прежде о реакции на «щедринскую» повесть и обиды за неупоминание.

Наш журнал курирует сразу три литературных альманаха, что издаются под эгидой «Срединной России» — как всероссийского. Редакторы их отмечают выход новых выпусков собранием литобщественности. И меня туда приглашают в качестве «патронирующего шефа». Обычно в такие места приходят дородные «поэтессы» — зайчихи, воспитавшие детушек, как у *меня* в повествовании — пообщаться друг с другом от домашней скукоты и назойливых приставаний неразумных еще внучат... На одни такие посиделки я принес стопку свежеизданного «Кастальского ключа» — еще без сегодняшнего нашего разговора, который *во втором издании* вставлю в качестве концовки. Положил в центре читального зала библиотеки, в которой обычно проводятся подобные «встречи авторов с читателями», в угол стола председательствующего: мол, налетай, подешевело! В смысле, окажите честь, задарма возьмите, детишкам и внукам вместо сказок-страшилок на ночь почитаете...

Поскольку у меня репутация изгоя, это как Северная Корея, Иран и временами Россия для империалистов Запада, но только для правленцев тулуповской ячейки Лесписа, поэтому эти самые дородные как-то с опаской, с оглядкой друг на дружку (не выдай в случае чего, милая!), привставая со стульев, начали книжки разбирать. Тем более — каюсь, есмь книжный эстет! — добротнo и со вкусом изданные: удоб-

ного формата, сами в руки, а потом в дамские сумочки и пиджачные карманы мужской половины прсытся.

Увы... сам себя выпорол, как достопамятная унтер-офицерская вдова: в самом начале собрания, похвалив альманах, именинник сегодняшнего дня, несколько слов (вот она, неумолчная гордынь сочинительская!) сказал и о своей книжке: дескать, получилось нечто философски-трагическое, хотя задумка вначале имела на примере нашей областной писательской... И так далее. Это-то и погубило мою повестушку в глазах собравшихся. Все взявшие экземпляры книжки начали, невежливо пропуская мимо ушей многоречивые рассуждения авторов альманаха, спешно *листать* — отыскивать свою аллегорию, но вместо таковой находили только обобщающих «зайчих», а мужская половина сидельцев в зале — «обилеченных» и «визиточников». Мужики, впрочем, книжку рассеянно клали в пиджачный карман... может на случай войны: тогда-то думцы отменят табачные утеснения; будет из чего махорочные самокрутки вертеть! Но которые дородные, воспитавшие и так далее, не найдя своего *alter Ego**, обиженно поджимали губки и, все так же привставая со стульев, клали книжку в прежнюю их стопу...

— Чего-то, Матвейч, увлекся ты дополнительной ко второму изданию главкой! Так и вовсе повесть в целикомый роман перевоплотишь. А где обещанный эксперимент, что есть опыт по-русски?

— Вот сейчас и про опыт. Сам по себе, Васильич, как мой собрат-коллега по изданию собственных книг — о журналах наших уже молчу, — знаешь: какой кровью и прочими затратами стоит издать хотя бы сотню экземпляров даже небольшой по объему книжки в демократическом мягком переплете? Потому и стараешься отдавать в руки тому, кто хотя бы *полистаёт* ее... надежды же на серьезного и вдумчивого читателя давно исчерпаны. Издашь новую книгу — и даришь с таким вот расчетом только что на *листающих*... И то сердце сочинительное не то что греет, а условно теплит — как вместо горячей «лампочки Ильича», упорно не запрещаемой думцами, китайской фабрикацией неоновый или диодный светильник.

Со временем подметил: коллеги-прозаики, хотя бы один из четырех-пяти, все же *пролистывают*, но которые ямбы с хорейми слагают в возвышенные часы творения — и вовсе не раскрывают. Хотя убеждают в обратном: хорошо, мол, брат Бурцев, сочинил! С интересом читал... и так далее. Пробую навести на сюжет и фабулу, чтобы проверить истинность их похвалы, так сразу убегают под благовидным предлогом: дескать, извини, дорогой коллега, рифма удачная в голову ударила, надо срочно, пока не улетучилась, записать!

Голь на выдумку хитра. Начал в сочиняемые повести и романы вроде как по делу вставлять в текстовку, а то и вовсе в качестве эпитафий к главам, строки и строфы из местных поэтов. Чье вставил — тому и отпечатанную книжку вручаю, ни полслова не говоря о цитировании... Через месяц-другой при встрече навожу на подаренную книгу. Чистейшими и яснейшими глазами впившись в мои гляделки (психологи говорят: если при разговоре собеседник смотрит на тебя в упор — значит стопроцентно врет), поэтический коллега утверждает: два раза от корки до корки прочел! И супруга с интересом прочитала. Конечно, ни четверти слова, даже осьмушки, про свое присутствие на страницах «дважды прочитанного». Перестал я поэтам понапрасну свои книги раздавать. Да и всем остальным «обилеченным» из тулуповских то же самое.

♦ — Итак, Матвейч, начал ты сочинять, как ранее рассказывал, что-то навроде сатирического рассказа в духе Михаила Евграфовича о нынешнем ничтожестве местного писательства, а получилась целикомая повесть с философским уклоном. Главное, правильную линию вывел в этой части. Не получилось как у юмориста в жизни Вольтера...

* Второе «Я» (лат.) — прим. ред.

— Это как... Вольтера?

— А как-то умничающая дама его попросила объяснить сам предмет философии. Он же ответил в том смысле, что когда слушающий не понимает, о чем ему толкует говорящий, а последний толком не знает, о чем он ведет речь, то это и есть философия.

— Мд-д-а. Убедительно. У меня сосед по лестничной площадке актер нашего драмтеатра. Прошлым летом по обмену на гастролях в Челябинске был. А там и опера имеется. Пошел для интереса на «Риголетто» — и зарекся вообще кроме как своей сцены ничего не видеть. Оказывается, тамошний режиссер — модернист, то есть провинциальный холуй западнического педермотства, но и отечественный квасной патриот в одном флаконе, для привлечения публики всем персонажам «Риголетто» придал футбольную наружность и имена...

— Это ты к чему, Матвейч, про оперу-то? В толк не возьму.

— Чего здесь толковать. Что оперы в футбольной униформе, что современная ущербная «литература»... Все это есть намеренная и направленная кем надо, тем же Великим инквизитором с новым именем Великого глобализатора, утрата в искусстве, уже не высоком творческой, профессионализма. Где заканчивается профессия, оттуда уходит мастерство, ибо оно требует неустанного учения — длинную во всю жизнь.

— Я тебя, дорогой мой письменник, понял. Пресловутое новаторство, новые формы и прочие благоглупости, в опере ли, в художественной литературе, якобы востребованные новым временем, новыми людьми, в наше время уже не есть просто изменение формы. Это нечто более губительное для всех искусств и творчеств. Коль скоро в повести своей ты упомянул нашего великого философа-свободолюбца Бердяева, то и поясню свое утверждение ссылкой на его слова. Примерно так, говорю по памяти: в осознанной человеческой деятельности задача в том, чтобы не допустить *перехода изменения в измену*, чтобы в любом изменении личности оставалась самодостаточно мыслящей. Но когда мы встречаем факт такого перехода, то становимся свидетелями самого тягостного явления человеческой жизни — разочарования в конкретном человеке, но что еще страшнее — разочарования в людях вообще. Как-то в этом смысле сказал уважаемый мною Николай Александрович, хотя бы он и старался представлять себя сугубым персоналистом и почти что умственным анархистом...

Как раз сейчас мы и наблюдаем переход изменения в измену: человек изменяет своей природе и данному природой высокому предназначению и превращается в безымянный винтик глобального человеиника. Человеинику же писатели не нужны. Ты все верно в своей повести обозначил и расставил по местам. Главное, без обиды для наших тулуповских... если кто из них все же осилит чтение сотни страниц. Разливаю? <Выпили — закусили>.

— ...Будем, Матвеевич, все одно оптимистами. Почаще будем якобы забывать о всяких там мрачных фатализмах и эсхатологиях. Хотя бы достаточно скоро сотрется во владениях Великого глобализатора не только память о писателях. Судя по сегодняшним устремлениям Запада, избравшего вновь для эксперимента Россию, уйдет из истории, что-де когда-то была страна Россия. Впрочем, и истории тогда уже не будет. Чего-то сказать имеешь?

— Да припомнил. Один человек досужий, потому много чего из сорной мелочовки в голове держащий, рассказывал по радио, а может и по «ящику»? — не помню точно. Словом, в Греции, в исторических местах в Пиэрии, на Геликоне и в Дельфах, где в античные времена располагались источники Иппокрена и Кастальский ключ, вблизи которых музы вдохновляли эпических поэтов, для привлечения туристов решили построить новодел — копию Кастальского ключа. Поскольку же соседние горы обезлесили, то ручьи и иные источники пересохли. Чем запитать новодел? — А просто подключили его к водопроводной сети соседнего городка.

Кастальский ключ из водопровода.



Горнило вдохновения, он же Кастальский ключ, она же Болдинская осень, он же громокипящий кубок от ветреной Фебы... Какие это заветные символы для людей творчества? И сопутствующие им состояния творящей души присущи истинным гениям и большим талантам. Но, увы, высокая трагедия вы рождается в пошлый водевиль, когда горнило вдохновения начинают штурмовать люди, хотя и добрых намерений, но обделенные даром самовыражения. Это, конечно, не их вина, — природа слепо раскидала кувшин этих серебряных монет, то есть талантов: кому досталось, а большинству и нет. Но насиловать эту природу — уже грех; не дано — успокойся и займись ремеслом попроще, главное, чтобы оно пользу приносило. А провозглашать себя гением, имея за душой только знание правил стихосложения, кипу писчей бумаги «Сору» и поддельный, китайский «паркер» — по меньшей мере безрассудно, вредно для окружающих, убыточно для семейного бюджета, опасно для здоровья, особенно психического. Тихий графоман вызывает жалость, часто — дружескую. Но буйный маратель бумаги такие дела творит, что его начинают всерьез опасаться. Их нападкам более всего подвержены самые робкие из редакторов — заводских многотиражек и нанятые на сроки выборов второстепенными политическими партиями. Еще буйные графоманы уважают водочку под селедочку на презентациях чужих книг, а боятся только собственных жен.